

Р О М А Н  Р О Л О В О Л О М Б А

Премия Ширли Джексон
за лучший роман

Один из лучших романов года
по версии Publishers Weekly

Рекомендательный список Locus

НЕЗДЕШНИЕ

Роберт Джексон Беннетт

Роман-головоломка

Роберт Беннетт

Нездешние

«АСТ»

2013

УДК 821.111
ББК 84(7Сое)

Беннетт Р. Д.

Нездешние / Р. Д. Беннетт — «АСТ», 2013 — (Роман-головоломка)

ISBN 978-5-17-107856-0

Бывшая полицейская Мона Брайт наследует дом своей матери в странном городе под названием Уинк, построенном вокруг давно закрытой физической лаборатории, все исследования которой были глубоко засекречены. Мона всю жизнь считала мать сумасшедшей, но, по крупицам собирая информацию о семье, она постепенно осознает, что ее воспоминания о детстве мало совпадают с действительностью. И чем больше проникает в тайны прошлого, тем сильнее понимает: этот город отличается от всего, что Мона когда-либо видела на этом свете. Здесь под всегда розовой луной посреди пустыни раскинулся настоящий оазис, по телевизору идут только передачи 1950-х годов, на главной площади стоит памятник молнии, а люди одержимы нормальностью... Вот только в каждом образцовом доме скрывается тайна, а сама реальность в Уинке оборачивается подлинным кошмаром, масштаб которого сложно даже представить.

УДК 821.111
ББК 84(7Сое)

ISBN 978-5-17-107856-0

© Беннетт Р. Д., 2013
© АСТ, 2013

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Обратите внимание | 6 |
| Глава 1 | 6 |
| Глава 2 | 12 |
| Глава 3 | 18 |
| Глава 4 | 20 |
| Глава 5 | 24 |
| Глава 6 | 31 |
| Глава 7 | 41 |
| Глава 8 | 48 |
| Глава 9 | 56 |
| Ну, здравствуйте, соседи | 63 |
| Глава 10 | 63 |
| Глава 11 | 76 |
| Глава 12 | 79 |
| Глава 13 | 84 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 88 |

Роберт Джексон Беннетт

Нездешние

Robert Jackson Bennett

American elsewhere

Copyright © 2013 by Robert Jackson Bennett

© Галина Соловьева, 2018, перевод

© Валерий Петелин, иллюстрация, 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2019

Люди вечно забывают, что счастье – это расположение духа, а не обстоятельств.

Джон Локк

Обратите внимание

Глава 1

Норрис весь в поту, несмотря на ночную прохладу. Пот проступает на висках и на голове, стекает по щекам, копится над ключицами. Струйки ползут по плечам, впитываются в ткань рубашки на локтях и запястьях. Вся машина пропахла соленым, как спортивная раздевалка.

Норрис сидит на водительском месте, не глушит мотор и уже двадцать минут спорит сам с собой – правильно ли не выключил. Мысленно он составил несколько табличек с «за» и «против», после чего в целом решил, что так лучше: шансов, что кто-нибудь услышит шум машины, застоявшейся на дорожке в этом районе, проверит и заметит что-то подозрительное, довольно мало, а вот когда понадобится срочно завести машину, он легко может запутаться с зажиганием или рычагами, это без вопросов. Он уверен, что неизбежно напортачит, даже руки с руля не убирает. Так вцепился в баранку потными ладонями, что сомневается, сумеет ли их оторвать. «Прилип, – думает он. – Я застрял навсегда, и уже не важно, кто там что заметит».

Он сам не знает, почему так боится чужого внимания. Соседние дома необитаемы. Об этом не говорят вслух, но квартал закрыт для публики. На всю улицу один-единственный жилец.

Норрис, подавшись вперед, рассматривает дом. Припарковался он прямо перед дорожкой к парадному крыльцу. Позади машины – узкая опрятная гравийная дорожка, ответвившаяся от асфальтированной улицы и изгибами сбегаящая по склону к солидному гаражу. Сам дом очень-очень велик, но его размер основательно скрадывают серебристые ели: взгляд улавливает лишь намек на девственно белые деревянные панели, разросшуюся лантану¹, непроницаемые шторы на окнах и чистые стены красного кирпича. А в конце дорожки видна скромная, гостеприимная передняя дверь под слоем яркой красной краски, с веселой бронзовой ручкой.

Право, безупречный дом – дом мечты. Дом мечты не только в том смысле, что каждый мечтал бы в таком жить; этот дом так совершенен, как бывает только в мечтах.

Норрис смотрит на часы. Прошло четыре минуты. Ветер задевает хвою, шорох тысяч иголок отзывается в нем дрожью. В остальном все тихо. Впрочем, у таких вот домов всегда тихо, а гулять по ночам в Винке всегда неблагоприятно. Это каждый знает. Здесь всякое случается.

Норрис выпрямляется на сиденье: в гараже шум. Голоса. Он еще крепче стискивает баранку.

Две темные фигуры в лыжных масках появляются из гаража, тащат что-то громоздкое. Норрис с отчаянием следит, как они подходят к машине. Когда они оказываются рядом, он опускает окно со стороны пассажира, шепчет:

– Что случилось? Где Митчелл?

– Заткнись, – бросает один.

– Где он? Вы что, оставили его там?

– Не мог бы ты заткнуться и открыть багажник?

Норрис готов повиноваться, но отвлекается, разглядев, что они принесли. Кажется, это невысокий мужчина в синем свитере и брюках хаки, но руки и ноги у него туго связаны, а на

¹ Многолетний кустарник. – Здесь и далее прим. ред.

лицо натянут джутовый мешок. Это не мешает связанному очень-очень быстро говорить, чуть ли не напевая:

– ...Успеха *не будет*, не может быть, надежда такая пустая, что лично я *представить* себе не могу, понимаете, не могу представить. У вас ни власти, ни привилегий, а без них это только песок за шиворотом, только тростник, качающийся в бурной воде...

– Открывай уже багажник, черт!.. – прикрикивает один из двоих.

Норрис, спохватившись, сдвигает рычажок. Крышка отскакивает, и двое волокут человека без лица дальше, запихивают внутрь и захлопывают багажник. Рысцой обегают машину и запрыгивают на заднее сиденье.

– Где Митчелл? – повторяет Норрис. – Что с ним?

– Веди на хрен! – выкрикивает один.

Норрис еще раз смотрит на дом. Теперь во всех окнах видно движение – не темные ли фигуры расхаживают взад-вперед? Или бледные лица маячат за стеклами? И лампочки перед крыльцом горят – а секунду назад, честное слово, было темно. Норрис отрывает взгляд, включает первую и рвет машину вперед.

Они проносятся по дорожкам и выкатывают на главную. Двое стягивают лыжные маски. Циммерман старше, он лыс, в бородке седина, щеки надулись, предвещая обвисшие брыли. Он из них троих самый опытный в подобных делах, и потому особенно страшно видеть, как он перепуган. Второй, Ди, – атлетичный молодчик с идеальным пробором в светлых волосах, какие увидишь только на агитплакатах бойскаутов. Ди то ли не понимает, что происходит, то ли так обалдел, что у него рот не закрывается.

– Иисусе, – произносит Циммерман. – Господи. Твою же мать.

– Что там было? – снова спрашивает Норрис. – Где Митчелл? Он в порядке?

– Нет. Ничего он не в порядке.

– Ну так что случилось?

После долгого молчания Ди роняет:

– Он упал.

– Что он? Упал? Куда упал?

Двое снова молчат. Теперь заговаривает Циммерман:

– Там была комната. И... как будто все двигалось. А Митчелл в нее упал.

– Упал, – подхватывает Ди, – и все падал, падал... без конца.

– Как это понимать? – спрашивает Норрис.

– Думаешь, мы сами там что-то поняли? – огрызается Циммерман.

Норрис, опешив, смотрит теперь только на дорогу. Он ведет машину на север, к нависающей над городом темной столовой горе. Сзади, из багажника, слышатся то стуки, то крики. Все делают вид, будто не слышат.

– Он нас ждал, – говорит Ди.

– Заткнись, – приказывает Циммерман.

– Потому и приготовил нам ту комнату, – упорствует Ди. – Он знал. Болан говорил, мы застанем его врасплох. Откуда он узнал?

– Заткнись!

– С чего бы это? – спрашивает Ди.

– А с того, что эта тварь в багажнике наверняка нас слышит.

– И что?

– А если что пойдет не так? Если он улизнет? Одно имя ты ему уже назвал. Что еще хочешь сообщить?

Тяжелое молчание. Норрис спрашивает:

– Музыку послушаем?

– Хорошая мысль, – соглашается Циммерман.

Норрис нажимает кнопку. Из вынесенных колонок раздается мурлыканье Бадди Холли: «Настанет день», – и все молча слушают.

Машина взбирается по горной дороге, оставляя город позади. Сеть уличных фонарей сжимается, становится похожей на растянутую у подножия горы паутину в капельках утренней росы. Город устроился в основании темного веера растительности, питаемой сбегающими со склона ручьями, пронизывающими городской центр. На много миль от столовой горы ручейки – единственный надежный источник влаги, редкость в этой части Нью-Мексико.

В темноте над дорогой качается щит, отмечающий границу города. Краска подсвечена рядом лампочек вдоль основания, так что плакат слабо мерцает в темноте. На нем, сидя на пледе для пикника, улыбаются мужчина и женщина. Типичная здоровая семья – у него квадратная челюсть и морщинки у глаз, у нее изящная бледность и губы-вишенки. Они любят волшебным видом закатных гор, и над вершиной одной из них бронзовой краской выписана совсем маленькая антенна – ясно, что вблизи она оказалась бы много больше. Закатные облака будто свиваются вокруг антенны, а за антенной и облаками еще что-то, видимое, должно быть, нарисованным людям, но две правые панели плаката оторваны, так что на месте вдохновляющего зрелища – грубые доски щита. Впрочем, какие-то вандалы пытались восполнить картину с помощью мела, хотя трудно понять, что они хотели изобразить: то ли силуэт, стоящий на горах, то ли на месте гор – гигантскую, титаническую, фигуру, заслонившую все небо. В общих чертах фигура эта человеческая, но что-то с ней не так: слишком сутулая спина, слишком неопределенных очертаний руки, но это, может быть, художник не справился с задачей.

По нижнему краю щита белые буквы надписи:

«ВЫ ПОКИДАЕТЕ ВИНК, НО ЗАЧЕМ?»

«Действительно, зачем?» – думает Норрис. И мечтает оказаться где-нибудь подальше.

Воздух на высоте обычно разрежен. От этого ночное небо кажется очень синим, а звезды – чрезвычайно близкими. Норрису они сегодня представляются ближе обыкновенного, и плоская вершина тоже выглядит непривычно высокой. Наверху дорога разворачивается и серебряной ленточкой свешивается вниз. Над другими, далекими вершинами пляшут голубые молнии. Норрис неуютно ерзает. Ему чудится, что с удалением от города, от жесткой сетки улиц и желтых фосфорных фонарей мир становится все менее реальным.

В колонках шум помех, «Настанет день» теряется в них, музыка глохнет, и тоненький голос твердит как сумасшедший:

– Все напрасно, напрасно. Вы тычетесь в границы, которые вам почти не видны, возитесь с влияниями, к которым слепы. Перестаньте, отпустите меня, и я вас прощу. Все прощу, и будет словно ничего не случилось, не случилось.

– Боже сраный! – выговаривает Циммерман. – Этот хрен пролез в радио!

– Выключи! – вскрикивает Ди.

Норрис хлопает по кнопке, скороговорка обрывается. Дальше едут в тишине.

– Господи, – заговаривает Ди. – Тебе уже приходилось что-нибудь подобное делать?

– Я и не знал, что такое возможно, – отвечает ему Норрис.

– Вот только головы терять не надо, – советует Циммерман. – Пока мы справляемся. Если получится, обо всех нас позаботятся.

– Кроме Митчелла, – вставляет Ди.

– Со всеми все будет в порядке, – строго произносит Циммерман.

– А почему вообще мы этим занимаемся? – спрашивает Ди. – Это не наша забота. Пусть уб... – Он выбирает другое слово: – Пусть босс сам этим занимается.

– Нас это тоже касается, – возражает Циммерман.

– Чем?

– Вот если бы он отказал? Если бы сказал им: нет, не собирается он этим заниматься.

– Тогда бы на сковородке оказался он, а не мы, – говорит Норрис.

– А по-твоему, они не знают, кто на него работает? Не позаботились бы, чтобы и нас это коснулось? И не кажется ли тебе, что мы все немножко слишком много знаем?

После минутного молчания Ди угрюмо бурчит:

– Я ничего такого не знаю.

– Они бы не стали рисковать. Мы все в деле. Они приказывают боссу, а он нам. И мы делаем, что сказано. Даже если... – он выглядывает в окно, смотрит в темноту внизу, – несем потери.

– Откуда нам знать, что сработает? – спрашивает Норрис.

Циммерман запускает руку под сиденье, достает деревянный ящичек. Тот плотно обмотан вдоль и поперек слоями клейкой ленты и обвязан крепкой бечевкой. Ясно, что приготовивший этот ящик не намеревался открывать его без крайней нужды.

– Сработает, – говорит Циммерман, но голос у него вздрагивает и хрипнет.

Машина идет все вверх, виляет по дорожке, пляшущей по плато. Скоро дорога вытягивается вдоль бегущей в лощине реки и наконец встречается с ней там, где вода, пополненная недавним дождем, рушится с каменного порожка. Здесь зеленый веер сходится в точку; выше почва слишком каменистая, на ней держатся лишь самые выносливые сосны.

– Здесь, – говорит Циммерман, указывая на подножие водопада.

Норрис съезжает к обочине и зажигает проблесковые фары.

– Черт, Норрис, не включай! – бросает Циммерман.

– Извини.

Норрис гасит огни.

Все трое выходят из машины, обступают багажник. Переглянувшись, открывают крышку.

– Вы ничего не сможете сделать, ничего невозможно, так что не понимаю, что вы задумали. Может ли рыба сражаться с небесами? Червяк воевать с океаном? Как вы додумались хоть мечтать о победе?

– Не затыкается, – говорит Циммерман. – Давайте.

Норрис взваливает груз на плечо, а Ди подхватывает его связанные ноги. Циммерман, включив фонарик, идет первым, в обтянутой перчаткой руке у него деревянный ящичек. Они доносят пленника до места, где обрывается дорога, и по каменистому склону начинают спускаться к водопаду.

Вода течет сразу за старой сетчатой изгородью, неровно протянувшейся по холмам. На угловом столбе ржавая жестяная табличка. Слова почти не читаются, хотя то, что можно разобрать, выписано четким шрифтом космического века, не один десяток лет как вышедшим из моды: «Собственность Кобурнской национальной лаборатории и обсерватории – проход запрещен!» Трое, игнорируя предупреждение, пригибаются, чтобы протащить брыкающуюся ношу сквозь зияющую в ограде дыру.

Норрис поднимает взгляд. Здесь, вдали от городских огней, звезды еще ближе. Ему от них неуютно – или от привкуса ионизации, витающего над вершиной столовой горы. Это неподходящее место. Не худшее, видит бог, бывают хуже, но все же совсем неподходящее.

Ди нервно поглядывает на кедры и сосны.

– Не вижу, – говорит он, заглушая болтовню связанного.

– О том не беспокойся, – отвечает Циммерман. – Придет, когда позовут. Клади этого у водопада.

Они так и делают – бережно устраивают пленника на камнях. Циммерман кивком приказывает им отойти и, наклонившись, срывает мешок.

Добродушное пухлое лицо выглядывает из растрепанной седой шевелюры. В уголках зеленых глаз морщинки, на скулах веселый румянец. Лицо чиновника, учителя английского, консультанта – человека, привычного к переключиванию и заполнению бумаг. Но во взгляде

присутствует нервирующая Норриса жесткость, словно в его глубинах плавает нечто, чему там не место.

– Вы мне ничего не можете сделать, – говорит связанный. – Не дозволено. Не понимаю, чего вы хотите, но ничего не выйдет.

– Отойдите немножко, – велит Циммерман своим спутникам. – Сейчас.

Ди с Норрисом отступают на несколько шагов, продолжая наблюдать.

– Вы сумасшедшие? – осведомляется пленник. – Да? Пистолеты, ножи, веревки здесь эфемерны, пыль на ветру. Зачем вы мутите нам воду? Зачем отказываетесь от мира?

– Заткнись, – бросает Циммерман.

Встав на колени, он достает перочинный ножик и принимается срезать ленту и бечевку с ящичка.

– Вы ни слова не услышали из того, что я сказал? – спрашивает пленник. – Вы не можете меня минутку послушать? Вы хоть понимаете, что делаете?

Ящичек уже открыт. Циммерман смотрит на его содержимое, сглатывает и откладывает нож.

– Понимать – не мое дело, – хрипло произносит он. И руками в перчатках поднимает ящик – опасно, стараясь не потревожить того, что внутри, переносит туда, где лежит пленник.

– Вы не можете меня убить, – говорит связанный. – Вы не можете меня тронуть. Вы даже повредить мне не можете.

Циммерман, облизнув губы, опять сглатывает.

– Ты прав, – признает он. – Мы – не можем.

И он вытряхивает содержимое ящичка на лежащего.

Оттуда вываливается что-то очень маленькое, белое, овальное. На первый взгляд предмет похож на яйцо, но когда он, прокатившись по груди связанного, останавливается у подбородка, становится ясно – не яйцо. Поверхность у него шершавая, как наждак, на ней два больших глаза-дыры и короткое оскаленное рыльце с парой острых резцов, за которыми тянутся маленькие хрупкие зубки. Это череп мелкого грызуна – без нижней челюсти, отчего возникает странное впечатление, будто он окаменел в вечном крике.

Взгляд связанного замирает на крошечном черепе. Впервые ломается его безмятежная самоуверенность: растерянно моргнув, он поднимает глаза на похитителей.

– Это ч-что? – слабым голосом спрашивает он. – Вы что натворили?

Циммерман не отвечает. Отвернувшись, он приказывает:

– Теперь ходу! – и все трое, отступаясь и размахивая руками, чтобы не упасть, бросаются по каменистому склону к изгороди.

– Что вы со мной делаете? – зовет связанный, но ответа не получает.

Добравшись до изгороди, трое растягивают пошире дыру, помогают друг другу пролезть.

– Все? – спрашивает Норрис. – Дело сделано?

Ответить Циммерман не успевает: среди деревьев у водопада загорается желтый свет. Трое оглядываются, и каждому приходится сощуриться, хотя источник света еще не виден. Свет странно дрожит, словно от пляски множества мотыльков, и, пробиваясь между стволами, ложится на прогалину ребрами грудной клетки.

Между двумя самыми высокими соснами – подобие человека: стоит прямо, опустив руки вдоль туловища. Норрис не помнит, чтобы он был здесь раньше – кажется, образовался из ничего, и с его появлением в воздухе возникает новый запах, запах навоза, гнилой соломы и распада. От слабого его дуновения у Норриса слезятся глаза. Стоящий опускает взгляд на связанного, но голова его смотрится странно: над макушкой торчат два длинных остроконечных уха или, может быть, рога. Он не движется и не заговаривает – кажется, он даже не дышит. Просто стоит, глядя на связанного от края сосновой рощи, а яркий свет за его спиной не дает различить подробностей.

– О господи, – шепчет Ди. – Это оно?

Циммерман отворачивается.

– Не смотрите! – говорит он. – Ну-ка, бегом.

Взбираясь по откосу к дороге, они слышат сквозь шум водопада голос связанного:

– Что? Н-нет! Нет, не ты! Я тебе ничего не сделал! Я ничего не делал, ничего!

– Господи, – шепчет Норрис. Он готов оглянуться.

– Не смей! – вскрикивает Циммерман. – Не привлекай внимания. В машину!

Когда они перелезают через дорожное ограждение, крики у водопада переходят в вопль. Свет среди деревьев начинает вздрагивать, словно к его источнику слетаются полчища новых мотыльков. Сверху трое людей могли бы увидеть, что происходит у подножия водопада, но они отводят глаза, уставившись на подсвеченный звездами асфальт и на зарницы в облаках.

Под несмолкающие крики они забираются в машину и рассаживаются. В воплях невыразимая мука. Им, кажется, не будет конца. Водитель снова жмет кнопку радио. Опять Бадди Холли, но на этот раз он поет: «Любовь – странная штука».

– Марафон у них, что ли? – тихо бурчит Ди.

Норрис, откашлявшись, выдавливает:

– Ага.

Он делает звук громче, и песня заглушает вопли из лощины.

Ди прав – это марафон, и следующим номером идет «Долина слез», а за ней – «Я меняю всех, кто меняется». Вопли не умолкают, пока трое мужчин слушают радио, слатывают, потеют и временами хватаются за головы. В машине все острее пахнет влажным страхом.

Затем неземной свет за дорогой гаснет. Люди переглядываются. Норрис выключает радио и обнаруживает, что вопли прекратились.

Когда последние лучи септической желтизны вытекают из сосен, дальше по плоскогорью загораются десятки других огоньков. Это обычные офисные лампы, свет множества стоящих на горе строений. Как будто все они питаются от общего источника, который был отключен, а сейчас снова подключился.

– Ну, черт меня побери, – говорит Циммерман. – Он не соврал. Лаборатория снова здесь и работает.

Минуту все трое в потрясенном молчании разглядывают огоньки на горе.

– Позвонить Болану? – предлагает Норрис.

Циммерман берет за мобильник, но, передумав, говорит:

– Давайте сперва заберем тело.

– А это не опасно? – спрашивает Ди.

– Все уже кончилось, – заверяет Циммерман, но полной уверенности в его голосе не слышно.

Сперва никто не двигается. Затем Циммерман открывает свою дверцу. Помедлив, остальные нехотя следуют его примеру. С обочины дороги они всматриваются в водопад, теперь совсем темный. Никаких признаков, что там произошло что-либо необычное. Только плеск воды, шорох сосен и розоватый свет луны.

Наконец они перелезают за ограждение и с опаской ползут вниз. На спуске Норрис бросает последний взгляд на огоньки.

– Знать бы, кого оно сюда привело, – тихо говорит он.

Циммерман сердито шикает, словно деревья могут подслушать, и дальше люди движутся в темноте молча.

Глава 2

Моне Брайт доводилось бывать на затрапезных похоронах, но эти, признаться, брали первый приз. Побили даже похороны ее кентуккийской кузины, которой могилу копали вручную на крошечном церковном кладбище. Там, конечно, шло все по старинке, но хоть могильщики были из членов семьи и старались, чтобы церемония получилась достойной. А здесь, на жалком глухом кладбище для неопознанных бродяг, кроме нее только могильщик – местный подрядчик с маленьким экскаватором, остановивший дребезжащую колымагу прямо на краю открытой могилы. Даже мотор не выключил, бросил работать вхолостую. Он сидит на приступке кабины и, утирая пот, довольно свирепо поглядывает на Мону. Видно, как он складывает в столбик сумму, мечтая чудом сменить этот унылый денек на перепихон в ближайшем мотеле.

Мона интересуется, где ждет его следующая работа. Застигнутый врасплох, могильщик задумывается.

– Ну, в Бейтоне надо выровнять площадку под парковку.

«Господи, – думает она. – В два копает могилу, в три ровняет парковку. Нашел папаша местечко, где отдать концы».

– Вы еще кого-то ждете? – спрашивает могильщик.

– Сомневаюсь.

– Ну что ж. Тогда продолжаем представление.

– А священник будет или что-нибудь такое?

– Я думал, вы его пригласили.

– Значит, автоматически даже гражданской панихиды не полагается? – Мона угрюмо хмыкает. – Я думала, здесь Божья страна.

– Только не за бесплатно, – возражает могильщик.

Название места: город Монтана, Техас – звучит издевкой, в этом «городе» всего два светофора. Один не работает, но здесь ему этого в упрек не ставят. У Моны была возможность перевезти отца в Биг-Спринг, тот побольше, как комар больше блохи, но она не видела причин платить лишнюю монету, чтобы прикопать отца, Эрла Брайта Третьего, в эту забытую богом землю. Что ни говори, тот был жутким скрягой, и ей казалось правильным зарыть его так же сквалыжно и недоброжелательно, как он прожил жизнь.

Могильщик забирается в экскаватор.

– Хотите что-нибудь сказать?

Подумав, Мона качает головой:

– Все уже сказано.

Пожав плечами, он подает машину вперед. Мона из-за зеркальных очков бесстрастно смотрит, как комковатая глина обнимает гроб.

Пепел к пеплу, прах к праху та-там, та-там, та-там...

Эрл, конечно, не догадался оставить завещания, так что все его имущество уходит в сложный и таинственный мир судов о наследстве. Вернее, сложным он был бы в других местах, а здесь судья собрался на этой неделе поохотиться на оленей, так что время на рассмотрение соответственно урезали, поскольку все честно и кому какое дело.

В назначенный час Мона добросовестно является в суд – зал с низким потолком, провонявший пережаренным кофе. Похоже, по совместительству он служит для собраний ветеранов внешних войн. При виде Моны возникает короткое замешательство, поскольку Эрл был белее снега, а Мона вся в мать, совершенная мексиканка. Но Мона к этому готова – как иначе, в Техасе-то, – а подobaющие документы и соответствующие имена в общем и целом развеивают все сомнения. Затем переходят к делу. Так сказать. Судья присутствует, но сидит ноги на стол, с головой уйдя в газету. Мона не против. Чем проще, тем лучше, ей ведь нужно вполне опреде-

ленное сокровище, с которым Эрл нипочем бы не расстался даже на старости лет, – вишневый «Додж Чарджер» 1969 года, гордость и радость многих лет его жизни, к которой Мону никогда не допускали. Девчонкой она часто мечтала посидеть на кожаных креслах, почувствовать, как оживает от толчка педали мотор, как вибрация поршней отдается в мостовую и ей в руки. Раз, в шестнадцать лет, она жарким летним вечером попробовала увести машину. Успела выгнать из гаража, и тут он ее поймал. Шрам виден до сих пор.

Так что на ее лице расцветает очень горькая улыбка от сообщения серолицего чиновника, что, да, автомобиль до сих пор зарегистрирован на мистера Брайта и, поскольку покойный не указал, кому он должен отойти, она вправе на него претендовать, если пожелает.

– Господи, как я желаю, сэра! – отзывается Мона. – Чертовски желаю.

– Хорошо. – Он делает отметку в бумагах. – А остальное имущество?

Этого она не ожидала. Судя по тому, как он жил, отец едва наскребал на существование в этом крошечном городишке.

– А какое еще было имущество? – спрашивает она.

– О, кое-что было, – отвечает чиновник. Машина, например, сдана на хранение вместе с другими предметами, которые, если она пожелает, перейдут к ней. Мона пожимает плечами – почему бы и нет. Имеется небольшая сумма наличными – деньги она берет. И ему еще принадлежат несколько земельных участков, говорит чиновник. Землю Мона отвергает: она прекрасно понимает, что всю землю, которая чего-то стоила, отец давно продал и жил на проценты: что осталось, сбыть не удастся. Чиновник кивает и говорит, что тогда остается вопрос о доме.

– Нет, сэра, не нужен мне клоповник, в котором он жил, – отказывается Мона.

– Что ж, это к лучшему, поскольку этот дом ему не принадлежал, – отвечает чиновник. – Он был взят внаем. Речь идет о доме, оставшемся ему в... – он сверяется с бумагами, – в Нью-Мексико.

– Где-где? В Нью-Мексико? Впервые слышу, что у него там был дом.

Чиновник переворачивает бумагу, показывает ей.

– Видимо, прежде и не было, – объясняет он. – Дом оставили ему, но он не вступил во владение. В его случае имущество перешло от некой... Лауры Гутьеррес Альварес?

При этом имени Мона лишается дара речи. Секретарь еще бормочет что-то о законах штата Нью-Мексико и едином законе о наследстве, но Мона вряд ли слышит хоть слово.

«Мама? – думает она. – У мамы был дом? У мамы был дом в Нью-Мексико?»

Понемногу шок оборачивается яростью. Как мог старый мерзавец ей не сказать! Она годами одолевала его расспросами о матери, которой почти не помнила – только обрывки детских воспоминаний о худенькой, дрожащей женщине, вечно плакавшей и смотревшей в окно, но никогда не выходявшей за дверь. Мона и не знала, что у матери прежде была жизнь за пределами их тесного дома в Западном Техасе; но вот вылинявший шрифт старинной пишущей машинки утверждает, что есть бумаги о распоряжении ее матери, в котором, в свою очередь, говорится об иной жизни, далеко отсюда, о жизни до Эрла, до рождения Моны, до тех горьких лет, что она провела рабыней отца, в другой стране.

– Что еще вы можете о нем сказать? – спрашивает она.

– Ну... немного. В оригинале завещания ничего больше нет. Оно совсем простое. Полагаю, ваш отец так и не принял наследства.

– Вообще? Так и сидел на нем...

– Похоже на то. Срок действия завещания ограничен... – он заглядывает в документ, – тридцатью годами.

Это сообщение почему-то беспокоит Мону.

– Тридцатью после смерти Эрла?

– Гм, нет. – Чиновник снова заглядывает в бумаги. – Тридцатью от даты смерти вашей матери.

Мона закрывает глаза, бранится про себя.

– Что, – удивляется чиновник. – Что-то не так?

– Да, – говорит Мона. – Значит, оно истекает... – она подсчитывает в уме, – через одиннадцать суток.

– О! – Секретарь тихо присвистывает. – Ну что ж, полагаю... стоит поторопиться.

Мона посылает ему первоклассный взгляд: «Без глупостей!» и, прищурившись, читает адрес дома: «1929, Ларчмонт, Винк, NM 87207».

Мона хмурится.

«Винк, – думает она. – Что еще за Винк?»

Тот же вопрос вертится в голове, когда она едет в Биг-Спринг на склад, где хранятся вещи отца. Он даже вытесняет мысли о «Чарджере». Ей всегда казалось, что об отце и знать-то нечего – а что там было, кроме оскорбленного молчания, запаха кордита и бокала «Серебряной пули» в волосатом кулаке? – а теперь ей приходится призадуматься. Если все это правда, если мать действительно оставила ему дом в далеком городке, он должен был хоть что-то об этом знать, верно? Не бывает ведь, чтобы унаследовал дом, выбросил его из головы и забыл, правда?

Уже у склада ее осеняет: если кто так и мог, так именно ее папаша – вполне в его духе.

Управляющий складом смотрит на нее с подозрением. Не только потому, что она просит открыть чужую ячейку и в доказательство своих прав долго возится с документами и множеством ключей, но и потому, что именно эту ячейку не открывали больше двух лет. В конце концов он сдастся – правда, Мона подозревает, что его упрямство вызвано скорее нежеланием отрываться от стула, чем профессиональной гордостью, – и ведет ее через лабиринт ящиков и металлических дверей к одному из самых больших помещений в дальнем конце.

– Он и впрямь помер? – спрашивает кладовщик.

– Помер и впрямь, – подтверждает Мона. – Я его видела.

– Если так, вы должны все вывезти в течение недели, просто чтоб вы знали, – сообщает он и, отперев, с лязгом открывает подъемную дверь.

У Моны округляются глаза. Секретарь суда сказал, что на складе хранится «часть» имущества, и, помнится, употребил выражение: «кое-что». А ей открывается внушительная груда барахла, и от одной мысли в ней копать Мона чуть не падает в обморок. Тут за дюжину дней и на четверть не разберешь.

Кладовщик вручает ей тяжелый фонарь и тележку, чтобы все это вывозить. Хорошо, что у Моны здесь старый грузовичок, определенно пригодится. Впрочем, она очень скоро высматривает у стены что-то продолговатое, с закругленными изгибами, окутанное толстым брезентом. Под складкой просматривается шина, и сердце у нее так и подскакивает.

На разбор коробок уходит больше получаса, но вскоре из-под бежевого упаковочного картона проступают мощные очертания «Чарджера». Расчистив место, она срывает брезент, и облако пыли, взлетев, расползается по ячейке и проходам. Пыль такая густая, что залепляет стекла очков. Дождавшись, пока уляжется, Мона их снимает, открыв круги чистой кожи на запыленном лице.

Она моргает. «Чарджер» стоит перед ней. Она его не видела пятнадцать лет, а он словно ни на день не состарился. Будто только что вывалился из воспоминаний. Даже пыль не запятнала насыщенного красного цвета, наполнившего складское помещение веселым румянцем.

Мона тянется потрогать его, увериться, что это на самом деле, но запинаясь о картонную коробку, опрокидывает ее носком туфли и сама падает, не успев ни вскрикнуть, ни удержаться. Цементный пол взлетает навстречу и бьет ее в лоб.

Бьет крепко, на мгновение в глазах мелькает черное море с зелеными светящимися пузырями. Потом свет выравнивается, она слышит, как рядом катится по полу фонарик. Из тем-

ноты сгущаются формы, чистые серые грани, сложенные друг на друга, и на одной грани слово: ЛАУРА.

Мона соображает, что лежит на пыльном полу, щекой на цементе, а ногами на раздавленной коробке. Фонарик, застрявший в складках брезента, бросает луч на башню коробок. Но Мону интересует не освещенная им коробка, а та, что под ней, с выведенным маркером словом «Лаура». И еще, цела ли ее голова.

Сев, Мона ощупывает лоб. По нему стекает струйка крови, пальцы влажно блестят.

– Зараза, – бранится она и ищет, чем бы промокнуть. Не найдя ничего подходящего, отрывает уголок пыльной газеты и приклеивает ко лбу. Бумага прилипает.

Она совсем забыла про «Чарджер» у себя за спиной. Она снимает коробки, стоящие поверх «Лауры», и откидывает клапаны.

И снова моргает. В голове бьется пульс, все становится размытым. В темноте содержимого коробки не разглядеть. Мона подбирает фонарь и светит внутрь.

Там сплошные бумаги, как и во всей ячейке. Но таких бумаг она не ожидала найти у папочки. Слишком официальный у них вид, слишком... технический. У многих в угловых штампах инициалы КНЛЮ и какой-то логотип, и на многих графики, числа, уравнения.

Потом Мона замечает что-то у стенки коробки. Блестящий уголок фотографии наверняка. Вытащив, она рассматривает снимок.

На ней четыре женщины во дворике за домом сидят вокруг чугунного столика. Все нарядные, держат бокалы с коктейлем и смеются в камеру – судя по расплывчатым теням и мягким краскам, это старая модель «Поляроида». Фон у них за спинами впечатляет: совсем рядом высокие сосны, а за ними стена розоватых утесов с полосами тусклого багрянца.

Три женщины Моне незнакомы. Но четвертую она узнает, хотя в жизни не видела у нее такого счастливого лица. Для Моны это лицо всегда было испуганным и грустным, глаза вечно шарили по комнате, словно искали невидимого чужака. Но, несомненно, на фото ее мать, не на один десяток лет моложе той, какой знала ее Мона, может быть, не на одну жизнь моложе, еще не скованная годами болезни и безрадостного брака.

Мона переворачивает карточку. На обороте синими чернилами размашисто выведено: «РОЗОВЫЕ ГОРЫ – ПИТЬ ВСЕГДА МЫ СКОРЫ!»

Снова перевернув, Мона вглядывается в лица. Мысль, что ее дрожащая мать, больше жизни нуждавшаяся в темных пустых комнатах, могла весело выпивать с подружками, просто не укладывается в голове.

Мона зарывается в содержимое коробки. Там еще снимки, вероятно, с той же пленки, с тех же посиделок. Все сделаны у одного и того же дома, и Мона сперва думает, что дом сложен из камня или глины, а потом уж вспоминает, что там ведь строят из адобы², верно? Большей частью видны только углы и кусочки стен, но на фото, где ее мать, одетая в нарядное узкое платье, встречает подружку на переднем крыльце, Мона видит фасад.

Она подносит карточку ближе к глазам. На стене у передней двери номер дома. Мона щурится и даже в тусклом свете, на расплывчатом снимке, угадывает цифры 1929.

– Тысяча девятьсот двадцать девять, Ларчмонт, – бормочет Мона. Перебирает фото, впитывая в память людей, виды, но особенно мать и большой дом, хозяйкой которого та, как видно, была в прекрасной стране, в окружении счастливых подруг.

Теперь это дом Моны – если она вовремя успеет в Винк. До сих пор она того не сознавала, но, наткнувшись вместо невнятных старых документов на картинки, поняла, что это значит. Дом, которого она никогда не видела, о котором даже не подозревала, мог бы принадлежать ей. У Моны выдалась неудачная пара лет, так что довелось поскитаться и пожить в съемном жилье

² Испанское название саманного кирпича, изготовленного из глины с добавлением соломы или других волокнистых веществ и высушенного на солнце.

– раз в ночлежке Корпус-Кристи и даже в кузове своего фургончика – и мыться в туалетах заправочных станций, и мысль о своем доме представляется ей совершенно безумной.

В дверь стучат, показывается голова кладовщика.

– У вас все нормально? Мне послышался крик.

Мона поворачивается к нему, и он немного отступает под сверкающим взглядом невысокой темноволосой пропыленной женщины с обрывком газеты на лбу и засохшей под ним струйкой крови. Моне не видно, что на газетной бумаге яркий заголовок: «ВЛАСТИ В ШОКЕ».

– Все хорошо, – отзывается она севшим от пыли голосом. И кивает на «Чарджер»: – Где бы мне раздобыть для него бензин и механика?

На разборку остатков имущества Эрла уходит целый день. Много Мона оставляет на складе – пусть вывозят на свалку. Большая часть бумаг относится к покупке земли – видимо, ее отец пытался пробиться в спекуляцию недвижимостью, но не преуспел. На удивление много призов за боулинг – но ни одного за первое место. И еще фотографии. На снимках преимущественно он и его семья. Эти Мона выбрасывает. Те, на которых он, Мона и ее мама, оставляет, по крайней мере на сегодня, и дает себе слово утром их тоже выбросить.

Старый грузовичок удастся сбыть за 250 долларов, и, честно говоря, она считает, что покупатель переплатил, хотя ему и не скажет. «Чарджер» почти не потребовал забот механика – завелся как по волшебству. Черти бы взяли ее отца за множество разных дел, но с машиной он был молодец. Одна беда – шины; конечно, в мастерской Биг-Спринг на такие классические машины сервиса не нашлось, а рыскать по округе Мона не в настроении, так что, подвергнув механика безжалостному допросу, она покупает колеса, которые «послужат», пока она не найдет подходящих. Почти наверняка на это уйдут все доставшиеся по наследству наличные, но Мона не сомневается, что дело того стоит. Дождавшись, пока механик закончит работу, она загружает в машину свое скудное имущество и последним переносит главное: «Глок-19» в кобуре и коробку патронов.

К заходу солнца Мона богата, как много лет не бывала. Мало того что при ней больше тысячи долларов, так еще шикарная машина, коробка с бумагами и фотографиями матери и распроклятый дом в Нью-Мексико.

Она садится за руль и размышляет.

Осталось одиннадцать дней, если не меньше. Придется заняться этим всерьез.

Заночевав в мотеле, она заказывает барбекю навынос и ест, сидя на кровати и читая то, что осталось от матери. Многого – почти ничего – Мона не понимает. Выглядит как распечатка данных со старых компьютеров – из тех, у которых, в ее представлении, экраны черные с зелеными буквами. Числам нет конца, и среди них попадаются слова, тоже ни хрена не понятные: там и тут разбросаны «космические контузии», и еще что-то «афазное», и много невразумительных рассуждений про «бинарные состояния». Есть и другие бумаги, переписка между отделами той же лаборатории КНЛО – Кобурнской национальной лаборатории и обсерватории, к названию которой всегда прилагается эмблема-логотип, атомная модель какого-то элемента – Мона догадывается, что водорода, – заключенная то ли в каплю воды, то ли в луч света.

И оказывается, мать когда-то там работала, может быть, инженером. На нескольких записках стоит «Альварес» и даже «д-р Альварес». Мона весь день удивлялась, но это поражает ее больше всего – она представить не может, что у матери была докторская степень хоть в какой науке, а тем более в такой передовой.

Она просматривает несколько старых семейных фото из отцовских. Дольше всего задерживается над тем снимком, что был сделан перед их шлакоблочным домиком. Дом такой же маленький, белый и обшарпанный, как ей помнится, пропитан солнцем и пылью. Мона с Эрлом и матерью стоит у двери, слабо улыбается – снимали по дороге в церковь. Мона не представляет, кто бы мог фотографировать – неужели кто-то из соседей? – но даже на этом давнем отрезке семейной истории она угадывает хрупкость в глазах матери – готовность сломаться.

Мона помнит, когда в последний раз видела мать. В смысле живой. Как раз там, где сделан этот снимок. Ей запомнился жаркий рыжий день, когда мать решила выйти на крыльцо – впервые за много месяцев – и подозвала игравшую во дворе Мону, которой еще семи не исполнилось. На матери был голубовато-зеленый банный халат, и волосы еще влажные, и Мона запомнила, как смутилась, когда ветер задрал матери полу халата и Мона увидела волосы у нее на лобке и поняла, что мать под халатом голая, совсем голая, как ночная бабочка. Мать подозвала ее к себе, а когда Мона подошла, встала на колени и зашептала ей на ухо, что любила ее, любила больше всего на свете, но остаться здесь не может и как ей жаль. Она не могла остаться, потому что она не отсюда, из других мест, и теперь должна вернуться. Перепуганная Мона спросила, где это, и если недалеко, можно ли ей будет приходить в гости, а мать шепнула, что нет, это очень-очень далеко, но просила не тревожиться, она когда-нибудь вернется за своей девочкой и все будет прекрасно. Потом мать велела остаться во дворе, просто ждать, пока приедет скорая и обо всем позаботится, и еще раз призналась в любви, поцеловала Мону и ушла внутрь.

Последнее, что запомнила Мона: мать уходит по длинному темному коридору, пошатываясь на худых бледных ногах и бессмысленно ощупывая уши. Потом, хотя Мона не видела (мать о ней позаботилась), Лаура Брайт обмотала голову двумя полотенцами, залезла в ванну, задернула занавеску, приставила к подбородку мужнин дробовик и раскрасила аквамариновый кафель душа сырой простой материей, составлявшей ее мозг и душу.

Судя по приготовлениям, мать явно собиралась проделать все чисто, но на цементной затирке осталось розовое пятно и не сходило, сколько бы отец ни отскребал. Мона после этого возненавидела дом и обрадовалась, когда отец перешел на другую работу. И по сей день Мона не забыла, как выглядела мать, извиняясь перед ней на крыльце: она много лет не казалась такой здоровой и разумной. Только потом, став копом, Мона узнала, как необычно для женщины самоубийство при помощи огнестрельного оружия, особенно такого разрушительного, как дробовик. Это ее по сей день беспокоит.

Она все время забывает, что через одиннадцать дней исполнится тридцать лет. Пусть с тех пор она прожила целую взрослую жизнь, все равно кажется, что это было вчера, что Мона все ждет на газоне перед крыльцом, когда же мать позовет ее в дом.

Кроме этого момента и коротких обрывков других, она почти не помнит мать. Но в комнате захудалого мотеля, слушая из-за стены программу «Рискуй!», Мона признается себе, что мать ее была не просто грустная женщина не в своем уме. Как ее занесло в Западный Техас и в жизнь Эрла Брайта, Мона не представляет.

Но она решает, что в этом нужно разобраться. Она поедет в городок в Нью-Мексико и узнает, чем занималась там мать, что превратило ее в памятный Моне слезливый человеческий обломок. А в Техасе Мону ничто не держит: после развода ее побросало, и хотя, когда она подавала в отставку, хьюстонская полиция дала понять, что ее возвращению будут рады, Мона больше не хотела быть копом. Она привыкла плыть по течению, сменять комнаты дешевых мотелей, дышать дизельным топливом и запахами дешевого пива. Один бог знает, сколько долговых расписок она заполняла, чтобы продержаться месяц или два. Объездила Техас и Луизиану, в припадке отчаяния заглянула и в Оклахому, измерила много миль, но так и не знает, нашла ли что-нибудь в пути. Уж точно ни дома, ни машины, ни призрака истории матери.

Отпихнув от себя бумаги, Мона принимается подстригать и подпиливать ногти на ногах (она всегда заботится о ногах) и смотрит, как меняют цвета просвеченные неоновой рекламой занавески.

Она думает, как доберется, думает, что за город такой – Винк и почему она ни разу о нем не слышала. И гадает, найдется ли там что-нибудь еще о незнакомке, которую она откопала в картонной коробке.

Глава 3

По окраине Винка, примостившегося под западным склоном столовой горы, прикрывавшей его от палящего полуденного солнца, извивается узкий каньон, на удивление безлесный и тихий. Его почти скрывают густые подушки кедровника, но в каньон они пробиться не сумели, хотя выживают и гораздо в более суровой местности. Из города каньон почти невидим, но возникни у горожан такое желание, они легко спустились бы через лес и погуляли внизу. Тем не менее ни красивый вид, ни легкий доступ ни разу не привели в каньон жителя Винка. Во всяком случае, без приглашения.

Потому что здесь проживает мистер Первый, а мистер Первый дорожит правом на уединение.

Утро только занимается, в темное небо едва просачиваются розовые переливы, пригасившие звезды. Стайка воробьев вдруг выпархивает из леса и, покружившись, опускается на дальнем краю Винка. Семейство белохвостых оленей тоже спешит в тень горы, скачет между соснами, словно спасаясь от охотника, хотя охотников нигде нет. Даже стая койотов бежит прочь – невиданное дело, им к этому времени полагалось бы спать.

Скоро над лесом повисает тяжелая тишина. Ни звука, только ветер в кронах. Потому что мистер Первый просыпается, и большинство обитателей горных склонов знает, что в такое время лучше держаться подальше.

Событие это не из обычных, и мистер Первый сам знает, что просыпаться ему не время. Он в курсе, что сейчас утро, а не вечер, и, более того, он установил для себя весьма строгое расписание, между тем, если он не ошибся с датой, до срока еще далеко. Ему бы сейчас дремать, укрывшись от грубого нового мира в многочисленных складках камня. Очень любопытно.

Что-то, должно быть, его разбудило, решает он. Это повод озаботиться, ведь мало что способно разбудить мистера Первого. И вот он медленным сложным движением разворачивается и принимается изучать окружение: пробует на вкус воздух, влажность, песчаное дно каньона и многое другое.

От многочисленных собратьев мистера Первого отличает, помимо старшинства, острота восприимчивости. Например, хотя его сородичи во многом уникальны, один он воспринимает форму и движение времени: он умеет заглядывать вперед и различать приблизительные очертания будущего – как, заглянув в глубину моря, различают в серебряном проблеске стайку рыб, – а если он очень-очень сосредоточится, то может разобрать даже очертания того, что могло бы (или должно было) случиться, но не случилось.

Сейчас, дрожа и поеживаясь в утренней прохладе, мистер Первый осознает, что его разбудило: только что резко сместился образ будущего. Множество возможностей оказались исключенными, и все варианты силой втиснули в единую колею. Он напрягает свой дар восприятия, вглядывается в мутные очертания будущих событий и видит...

Он почти сразу прерывает свое занятие. Будь у мистера Первого глаза, они бы сейчас округлились.

Он обдумывает увиденное, и в его сознание вступают две мысли.

Одна – что кто-то убит. Такого еще не случалось, да и не могло – подобное здесь должно быть невозможным. Однако, заглянув в ближайшие часы, он видит, что так и есть.

Вторая мысль спутанная, гораздо более зловещая и совершенно загадочная для мистера Первого. Однако он понимает, что видел, и событие, пусть смутное и затененное, как все будущее, для него ясно как день.

Она приближается.

Мистер Первый забивается поглубже в свой каньон, уходит в себя, чтобы ничто не отвлекло. Он начинает думать – усердно и быстро, что для него трудно, потому что обычно его размышления медлительны и неумолимы, как движение тектонических плит.

Перемены. Перемены здесь, где никогда, никогда ничто не меняется. Даже он, старейший из братьев (плюс-минус), этого никак не предвидел.

«Сказать им?» – спрашивает он себя. Он простирает свое внимание на крошечный городок, протянувшийся по долине у горы. Они еще спят большей частью.

«Нет, – решает он, – они и так скоро узнают, а кроме того, это ничего не изменит».

Но ясно, что в его приготовления придется внести поправки. Прежде всего ускорить их. Это все, что он может. Скоро появятся гости, и он должен быть готов к встрече.

Он чуть вздыхает. Ему здесь было хорошо. Им всем было хорошо. Но так случается, полагает он.

Глава 4

Кто желает воспеть красоты природы, пусть проедет на машине из Техаса в Нью-Мексико, думает Мона. Миль сто пустоты, полной пустоты, ни посевов, ни строений, и трудно сказать, сколько тут на самом деле миль, потому что на вид все одинаково. Плоская, серая, пропеченная солнцем земля, такой плоской Мона еще не видывала. Она почти уверена, что если затормозить у обочины и влезть на крышу машины, откроется обзор на много миль во все стороны. Повсюду протянута колючая проволока, но Мона понятия не имеет, что живое она отгораживает.

Трасса I-40 тянется и тянется. Ни перекрестков, ни придорожных поселков. Страна пустая и дикая просто потому, что приручать здесь некого.

Кроме ветра, приходит ей в голову. Едва заехав в холмы, она увидела первый ветряк и от удивления едва не слетела с дороги. Они возникают так внезапно – блестящие белые механизмы на зубцах горных вершин. Мона знала, что здесь строят ветряные электростанции, но пятнадцать лет не бывала в Западном Техасе, поэтому ни разу их не видела. Ветрякам, кажется, нет конца, они маячат на самых дальних вершинах. Неземное зрелище.

Мона замечает в ограждении одного ветряка проход и решает, что самое время передохнуть. Съехав с дороги, она прихватывает карты и завтрак – буррито с бобами, разогревшееся на солнце, пока лежало на соседнем сиденье, – выскакивает наружу и по холму поднимается к ветряку. Пожалуй, вторгается в запретную зону, но едва ли здесь найдется кому ее остановить. Она забыла, когда видела машину на дороге.

До турбины дальше, чем ей казалось, – она недооценила размер сооружения. Такое впечатление, что ничего выше Моне не доводилось видеть, хотя это наверняка не так. Ветряк высотой этажей в пять, и хотя на ее пути встречались здания гораздо больше, но почему-то крупнее, и намного, смотрится ветряк. Медлительное вращение лопастей под синим небом выглядит пугающе странным, но другой тени здесь нет, поэтому Мона усаживается у основания, разворачивает буррито и карты.

Рассматривает их и соображает.

Она три дня разбиралась, где, хоть приблизительно, этот Винк. Три дня прошли в досадливой ярости, потому что, как выяснилось, не одна Мона впервые услышала об этом городе; о нем не знали ни составители карт, в том числе и Рэнд Макнелли, ни министерство транспорта, черти бы его взяли. Транспортники отсылали ее к администрации штата, те в свою очередь – к центру, и так далее и так далее. Она целый день перебирала дорожные карты в поисках городка, но это не принесло плодов. Мона даже связалась с налоговой службой, но и у той не имелось сведений о данной недвижимости.

Мона пошла другим путем: у нее теперь имелись официальные документы, подтверждающие право на имущество, значит, власти и учреждения должны сказать ей, где это имущество, не так ли? Она ошиблась – ей выдавали только адрес. Прочие сведения о доме – например, его местоположение – отсутствовали. Мона доказывала, что раз дом существует, должен существовать и город, а все, что существует, должно попадать на карту, но по телефону ей объяснили, что нет, они не знают, существует ли этот дом, они могут подтвердить только ее наследственные права, а прочее, напрямик сказал ей служащий, может оказаться ошибкой или фальшивкой, и, судя по тону, Мона вызвала у них подозрения. В ответ Мона наговорила много такого, чего никогда не повторила бы в церкви, и служащий повесил трубку.

Только остыв, она нашла решение. Пусть Винк остается невидимкой, можно поискать кое-что другое – Кобурнскую национальную лабораторию и обсерваторию, чей логотип украшает почти все бумаги матери. Эта мысль осенила ее на дороге к Амарилло, поскольку Мона

решила двинуться в сторону Нью-Мексико, чтобы не терять времени даром. В городе она вернулась в публичную библиотеку и стала искать.

И здесь находки оказались ничтожны, но все больше, чем о Винке. На Кобурнскую национальную лабораторию и обсерваторию несколько раз ссылались старые научные журналы – шестидесятых-семидесятых годов. Самая подробная ссылка оказалась и самой давней – от 1968-го, что-то вроде резюме научного руководителя в журнале «Свет первый», закрывшемся в 1973-м.

К статье прилагалось большое фото пожилого, но крепкого мужчины, улыбающегося на фоне величественной панорамы гор. Фото было черно-белым, да еще пожелтело от времени, и все равно Мона поразила красоте тех мест. Одеждой мужчина немного напоминал первопроходца: высокие сапоги, жилет со множеством кармашков – из тех интеллектуалов-авантюристов, каких, похоже, наплодил минувший век. За его спиной у подножия самой большой горы шла стройка. Заголовок гласил:

«Доктор Ричард Кобурн на фоне возводящихся зданий Кобурнской национальной лаборатории и обсерватории у подножия столовой горы Абертура».

«Столовая гора Абертура», – повторила про себя Мона. Она записала название, просмотрела статью – нет ли чего полезного. В основном там было интервью с доктором Кобурном (расшифровка записи – Мона догадывалась, что ученый люд предпочитает чтение), все больше по проблемам физики, от которой Мона, честно говоря, скучала до слез, так что ни бельмеса не поняла. Журналист явно заискивал перед доктором Кобурном – как видно, тот в свое время был крупным ученым, однако, несмотря на энтузиазм, избегал подробностей. Мона особенно выделила одно место:

«ЛФМ: Так чего вы ожидаете от проекта? Если судить по вашим последним публикациям, ждать можно очень многого.

РИЧАРД КОБУРН: Ну, я полагаю – высокие ожидания идут на пользу новому предприятию. Я хочу сказать, надо заставлять себя работать, а кто будет работать, если не рассчитывает ничего достичь? Я в некотором роде сам себе враг. Немножко неловко признаваться, но я склонен все время считать себя неудачником. Постоянно кажется, что я мог бы сделать много больше. Может быть, это нездоровый подход, не знаю.

ЛФМ: Чего же большего вы хотели бы достичь?

РИЧАРД КОБУРН: Простите, по-моему, я не понял вопроса.

ЛФМ: Я хотел сказать, по вашим словам, вы рассчитываете на высокие достижения. Какие именно?

РИЧАРД КОБУРН: Ну, поскольку, к сожалению, нас финансирует в основном государство, я не много могу рассказать о наших планах. Знаете, в таких делах требуются всякие там допуски и тому подобное. Честно говоря, это немножко раздражает. Мне так о многом хотелось бы рассказать, но нельзя. Скажу только, что это может оказаться – и не подумайте, что я себя переоцениваю, – первым настоящим прорывом американцев в область квантов. С каждым новым фактом нам открываются все более поразительные возможности. Мы здесь собрали великолепную команду, и, хотя пока наша работа скорее напоминает туристскую вылазку в пустыню, думаю, это скоро изменится.

ЛФМ: Они здесь и живут? В палатках?

РИЧАРД КОБУРН: О нет, для них построили временное жилье. Довольно удобное. Насколько я знаю, собираются соорудить что-то более постоянное, но я к этому причастен только краем. Получится, думаю, симпатичный поселок. Относительно эстетики нам позволяют сказать свое слово. Но, честно говоря, я жду не дождусь, когда начнется работа. Мы будем изучать устройство мира на самом глубоком уровне, и важность таких исследований невозможно переоценить. То, что мы предполагали, считали само собой разумеющимся сотни, если

не тысячи лет, окажется под вопросом. Право, это ошеломляет. Меня это могло бы напугать, не любви я так сильно науку».

Государственного финансирования Мона ожидала – раз национальная лаборатория, – но все это выглядело очень уж... секретно. Как будто то, чем они занимались, требовало изоляции, как в закрытых поселках федералов.

Отчасти это объясняло, почему она не нашла никаких сведений о Винке. Мона побывала в учебном центре резервистов и более или менее представляла, как действуют власти в подобных случаях: строят предприятие и рядом – жилье для персонала. Если Винк возводился специально для сотрудников КНЛЮ, можно понять, почему его нет на картах и о нем не знают многие государственные и федеральные учреждения.

И вот этим занималась ее мать? Участвовала в правительственных научных разработках? Чем больше узнавала Мона о прошлом матери, тем больше дивилась.

Снимая копию статьи, она сообразила, что здорово вляпалась: завещанный ей дом может оказаться в закрытом городе. Как же это вышло? И что ей делать – лезть к нему через колючую проволоку? А это вообще-то законно? Моне еще не приходилось всерьез сталкиваться с федеральными законами такого уровня. И точного расположения города она пока так и не узнала. Только название столовой горы, стоящей то ли близко, то ли далеко.

Но карта сказала ей, что хотя бы гора существует на самом деле – столовая гора Абертура на северной оконечности хребта Хемес на северо-запад от Санта-Фе и Лос-Аламоса. Туда, похоже, вполне можно добраться.

Оставался один вопрос: готова ли она ехать в такую даль, чтобы проверить, не найдется ли рядом Кобурнская национальная лаборатория и обсерватория или Винк?

Подняв голову, Мона увидела свое отражение в окне библиотеки. Старые фотографии матери еще раз напомнили ей, как они похожи: Мона была чуть меньше ростом и немного смуглее, а в остальном почти копии.

Ее сильно поразило счастливое лицо матери. Не просто счастливое: та бурлила, *лучилась* счастьем. Разглядывая свое лицо в оконном стекле, Мона пыталась вспомнить, видела ли хоть раз мать в таком настроении. Что у нее было в Винке, что давало ей такое счастье?

А потом Мона попробовала вспомнить, когда сама испытывала подобное.

Могла бы вспомнить. Но это было давным-давно, и вспоминать не хотелось. Забыть, полностью отгородиться всегда лучше.

Дом был ей не нужен, но Мона поняла, что поедет в Винк, даже если не успеет к сроку. Если она поймает хоть отблеск счастливой улыбки с фотографий, ехать стоило.

Она собрала бумаги и встала. «Может быть, оно еще там, – думала она, выходя. – Должно быть там».

И вот Мона здесь, сидит на холме под огромной гудящей вертушкой на границе Техаса, а кругом на много миль ни души. Она в сотый раз пересматривает карты. Почти на всех пометки от руки (у Моны давно не было денег на GPS, а теперь, хоть и появились средства, она морщит нос на саму идею), поскольку многие не признают даже существования Абертуры и, уж конечно, понятия не имеют о Винке. Странное путешествие, этакое плавание без руля. Иногда Мона подумывает составить собственную карту, чтобы знать, как выбираться оттуда, куда заберется.

Отложив карты, Мона заканчивает обед и смотрит на запад. Огромное яркое небо в тысяче мест разорвано медленным вращением лопастей. Солнце стоит так, что они отбрасывают на голые холмы миллионы пляшущих теней. Мона вздыхает, переводит дыхание и задумывается, охота ли ей возвращаться к «Чарджеру».

Мона гонит от себя мысль, что ей представилась вторая попытка. Потому что Мона Брайт уверена, что ей и первой не дали. В самом деле.

В животе начинает скапливаться сильная боль.

«Не думай о ней. Собери ее и выброси».

Она открывает дверь «Чарджера», выжимает сцепление и продолжает путь на запад. Восемь дней. За восемь дней можно успеть.

Глава 5

Земля понемногу меняется.

Сначала вдали. Горизонт крошится; затем на нем возникают тени, похожие на полосу грозových туч. Скоро тени приобретают красноватый оттенок, и Мона видит, что это горы. По сторонам дороги бесцветная серая пустошь сменяется рыжими уступами, мохнатыми и расплывчатыми от зарослей чамисы. Эти маленькие пушистые кустики здесь цепляются за каждую щель, так что Мона чувствует себя больной глаукомой: кажется, кто-то набросал бледно-зеленых и желтых мазков по яркому оранжевому полотну.

На высоте намного прохладнее, чем в местах, где Мона провела последнее время. Она открывает окно, выпускает прохладный ветер и улыбается, направляя «Чарджер» на новый подъем. Легко верить, что эта земля породила атомный век – здесь все представляется возможным. Кажется, сам воздух наэлектризован, хотя, может быть, дело просто в небе: если Бог раскрашивал небо кусок за куском, то закончил он наверняка здесь – небо такое яркое, новенькое, что больно смотреть.

Моне так хорошо, что она едва не забывает о дорожных указателях. А когда спохватывается, видит, что до цели путешествия гораздо ближе, чем она ожидала. Она начинает притормаживать в маленьких местечках, расспрашивать местных, не слышали ли те про Винк.

Сперва люди встречаются редко. Они с сомнением смотрят на нее и, ответив «нет», предлагают что-нибудь, как будто ей нужно что-то другое, как будто ждут, что она купит баллон горючего или содовую просто из вежливости. Но у Моны нет ни лишних денег, ни запасов любезности, и она, запрыгнув в машину, спешит до следующей остановки.

А потом на слово «Винк» начинают реагировать: озадаченно глазают на нее, однако направляют дальше (в этих указаниях нет нужды, развилки не попадаетея) и советуют высматривать хорошую дорогу, ответвляющуюся к северу.

Одна женщина говорит: «Странно, что вы туда едете. И не упомяну, когда туда ездили. А если подумать, и оттуда не припомню, когда выезжали».

Если повезет, Мона доберется до места к ночи. Тогда у нее останется целая неделя на попытку заполучить дом. Она надеется, что этого хватит.

Асфальтированную дорогу Мона находит легко. Пропустить ее невозможно, такая она гладкая, ровная, черная. Мона давно не видела таких чудесных дорог. Она вьется по горному склону, сосны вокруг все толще и выше, а каменистое плато вершины все дальше. Удивительно, как далеко надо спускаться: Моне приходит в голову, что город, если и существует, стоит на дне ямы. Но тут деревья расступаются, и она видит не то чтобы яму, а узкую долину с довольно крутыми берегами.

Достигнув дна ущелья, дорога сдваивается, разворачиваясь обратно к столовой горе. На повороте по правую сторону стоит большой щит-указатель. Мона останавливается, чтобы его рассмотреть.

Как видно, думает она, это знак въезда в Винк с юга. На большом красочном плакате двое мужчин и женщина стоят в устье долины, любясь пестрым от солнечных бликов склоном горы. Мона отмечает, какие они все белокожие. Мужчины стоят, уперев руки в бедра (очень властный жест), а у женщины руки сложены под грудь. Прически у мужчин гладкие, с пробором, практически одинаковые, хотя один блондин, а другой шатен – они похожи, как две модели одной куклы. Одеты они в брюки хаки и рубахи из шотландки, рукава закатаны, намекая, что людей ждет работа и, будь что будет, они ее сделают. У женщины длинные светлые локоны, на ней яркий красно-белый сарафан. Такими, как они, мечтает стать, когда вырастет, каждый ребенок.

Но вот вид, которым они любят, Мону удивляет. Над долиной, на плато столовой горы, виднеется что-то вроде крошечной бронзовой башни-антенны того типа, что стояла над Землей в заставках старых фильмов RKO-Pictures. Эта деталь картины выглядит устаревшей, и ею странности не исчерпываются. Что за полоски целятся в башню с неба? Очень похоже на маленькие молнии.

По низу плаката надпись: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ВИНК – ГДЕ НЕБО КАСАЕТСЯ ЗЕМЛИ!» Еще ниже и мелкими буквами: «POP: 1.243».

Мона чувствует, что узнает долину. Выйдя из машины, она оглядывается кругом.

И почти сразу понимает, что долина – та самая, и столовая гора на плакате – та же, что сейчас перед ней, только деревья разрослись и почти скрывают подножие. Антенны наверху она не видит. Постройки, может, и есть, так издали не разглядишь...

От плаката во рту остается неприятный привкус. Забравшись в машину, Мона едет дальше и радуется, что оставила его позади.

Изгиб темной дороги, покосившаяся изгородь, сосновая ветка шарит по крыше машины. Дальше, дальше по дороге... Мона уверена, что проехала всю длину ущелья, но за поворотом открывается продолжение, словно ландшафт перед ней разворачивается.

Потом она замечает краем глаза скользящий в воздухе розовый гладкий кругляш. Он открывается только в просветах деревьев. На краю шара надпись, но Моне видны только две буквы: ВИ.

Теперь она понимает, что шар не висит в воздухе, а венчает высокий круглый столб. Водонапорная башня, думает Мона. Только до сих пор она никаких башен не видела, а наверняка должна была...

Пока она ломает голову, между соснами просвечивает красное пятно: знак остановки. От неожиданности Мона резко тормозит и понимает, что приехала.

Перед ней перекресток, но совсем не такой, как на оставшихся позади неровных проселках: по левую руку белый деревянный домик с зеленой отделкой, а по правую другой, из адобы, гладкостью коричневых стен и углов похожий на фигурный шоколад. Оба дома уходят в глубину от дороги, скрываясь в неровностях местности, за пышными цветочными клумбами. Перемена так неожиданна, что минуту Мона сидит, в недоумении оглядываясь по сторонам.

И сознает, что въехала в уличную сеть Винка. Впереди видны магазинчики, телефонные провода, парк с высокими соснами. Но на улицах никого нет и, кроме ветра, не слышно ни звука.

«И это закрытый город?» – удивляется она. Ей не попадалось ни запрещающих знаков, ни охраны: если что и задержало ее на въезде, так только крутой спуск.

Она катит по улицам. Вечереет, и первого прохожего она собирается спросить, где здесь мотель. Домом матери займется с утра. Главное – вручить кому надо документы на право собственности, и дом ее.

Но спрашивать некого. Рыская от перекрестка к перекрестку (каждый квартал – почти совершенство, измерь она углы транспортиром, наверняка вышло бы ровно девяносто градусов), Мона не встречает ни души. Улицы, магазины, дома пустынные. Даже машин на стоянках нет.

«Вот почему Винка нет на картах, – думает она. – Он заброшен на хрен». Такое уж ее счастье – унаследовать дом в городе-призраке.

«Но нет, не может он быть совсем заброшен», – соображает она. Уж больно ухоженный: неоновые вывески ресторанчиков хоть и не горят, выглядят исправными; все кафе покрыты (более или менее) свежим слоем краски; а с заходом солнца загораются фонари, заливают улицы белым фосфорным сиянием, и лампочки все на месте.

Но, хоть и пустынный, городок своеобразно красив. Во многих домах ощущается влияние гуги³, они резко контрастируют со стилем Нью-Мексико: рядом с гладким зданием из адобы запросто можно увидеть футуристическое строение с окнами-иллюминаторами и угловато изогнутой крышей или сплав стекла, металла и неона. Вывески столовых и кафе напоминают параболические антенны, нежно-голубые, как пасхальные яйца. Ее «чарджер» на этих улицах неуместен. По ним бы ездить в «Эльдорадо» с кормовым оперением и ракетным выхлопом. Или, размышляет Мона, минуя круглостенный кирпичный домик с сосновыми карнизами, – в фургоне на конной тяге. На удивление шизофреничное местечко, но не враждебное.

Она силится представить здесь свою мать. Может, она ходила в ту столовую, покупала цветы в этой лавочке на углу, прогуливала собаку по этой улочке. «Господи, – думает Мона, – неужели она могла держать собаку?» Невесть почему это несущественное в общем допущение ее ошеломляет.

За следующим поворотом открывается улица, уставленная припаркованными машинами. Не винтажными, как ей представлялось, а фургончиками «Шеви» и тому подобными. Мона прибавляет скорость, гадая, не нашла ли хоть что-то, и тут за кустарниковым бордюром открывается кованая ограда, а за следующим поворотом появляется белая деревянная церковь с высоким крыльцом.

Проезжая вдоль ограды, она видит наконец, что за ней, по ту сторону, и от неожиданности бьет по тормозам. Машина, скрипнув по крышкам, останавливается.

За кованой чугунной оградой большая толпа. Сотни людей.

На скрип шин все резко оборачиваются, глядят на Мону.

Она тоже смотрит и видит, что все они в черном или хотя бы в темно-сером, а некоторые женщины закрыли лица вуалями.

Мона понимает, что за кованой оградой кладбище. А толпа окружает лакированный гроб, зависший над открытой могилой.

Винк не покинут – все собрались на похороны, которые прервала Мона на рокочущей мощной машине со скрипучими по крышкам.

– Ах ты, черт, – бормочет она.

Посидев в растерянности, она неуверенно машет рукой. Большинство словно не замечает. Но один мальчуган лет семи улыбается и машет в ответ.

Пожилый человек в черном костюме говорит что-то стоящей рядом женщине и подходит к ограде. Когда Мона опускает окно с пассажирской стороны, он спрашивает:

– Я могу вам помочь?

Мона откашливается.

– Я... Здесь есть мотель?

Мужчина отвечает пустым взглядом. Но Мона не чувствует в нем ни удивления, ни упрека: кажется, его лицо не способно принимать другого выражения. Потом, не сводя с нее взгляда, мужчина поднимает руку и указывает вперед по улице.

– По левой стороне, – медленно, но отчетливо произносит он.

– Спасибо, – благодарит Мона. – Право, мне очень жаль, что помешала.

Мужчина не отвечает. Пару секунд он стоит как каменный. Затем опускает руку. Толпа все смотрит на Мону.

– Извините, – снова говорит та. – Мне действительно жаль.

Она поднимает окно и отъезжает, но, взглянув в зеркало заднего вида, видит, что все смотрят ей вслед.

³ Футуристичный архитектурный стиль в США, для него характерно обилие неона и никеля, изогнутые формы, широко использовались параболические, ракетобразные формы, бумеранги, летающие тарелки, передающие скорость и стремительность.

Может, и есть способы больше испортить первое впечатление, но сейчас они не приходят ей в голову. С одних неловких, несчастных похорон Мона попала на другие. Она гадает, что они все подумают, услышав, что она унаследовала здесь дом.

С еще не остывшими, красными щеками она подъезжает к мотелю – низкому, длинному, темному зданию на краю города. Оранжевая неоновая вывеска гласит: «Земли желтой сосны», а ниже, красными буквами поменьше: «Свободные номера». Дом немного похож на избу: стены сложены из толстых сосновых бревен – или декорированы под них. Все окна темные, кроме офисного.

Выйдя, Мона осматривает стоянку. Ни одной машины, и на улице тоже.

Она входит на ресепшен с сумкой на плече. Помещение на удивление просторное, полы из зеленого мрамора, стены отделаны деревянными панелями. Пахнет пчелиным воском, пылью и попкорном. Освещает комнату единственная желтая лампочка, с потолка бросающая пятно света на угловой столик, заваленный бумагами. В углу Мона кое-как различает старый желтый диван. На стене у столика блестят ключи, и переносный приемник тоненько играет откуда-то «Твое лживое сердце». За пределами освещенного пятна давящая темнота. Едва видна мертвая пальма в горшке перед столом. Свернувшиеся бурые листья рассыпаны по полу. На стене старый календарь, перелистнутый не на тот месяц: он потемнел от времени, пометок нет – кому-то здесь давным-давно нечего делать.

Кажется, тут пусто.

– Черт поberi, – говорит Мона, гадая, куда ей теперь деваться.

– Чем могу служить? – спрашивает низкий, мягкий голос.

Мона оборачивается, ищет взглядом говорящего. Глаза не сразу привыкают к темноте. Потом она различает картонный столик в углу около двери и сидящего за доской китайских шашек старика. Старик лыс и седобород, а изрытое оспинами лицо такое темное, что сначала Моне кажется, будто борода одна парит в воздухе. В руке у него пластиковый стаканчик с дымящимся кофе. Одежда – серый свитер с застежкой-молнией, штаны в черно-красную полоску и туфли из крокодиловой кожи, а из-за полукруглых стекол очков на нее смотрят спокойные, холодноватые глаза.

– Ох, – говорит Мона, – простите, сэр, я вас не увидела.

Старик не отвечает, прихлебывает кофе, словно хочет сказать: «Разумеется».

– Я бы хотела снять номер, сэр, с вашего позволения. Только на эту ночь.

Старик отводит взгляд, задумывается. Добрых тридцать секунд он размышляет в тишине, нарушенной только голосом Хэнка Уильямса, потом спрашивает:

– Здесь?

– Что?

– Вам нужен номер здесь?

– Что? Да. Да, мне нужен номер здесь.

Старик, крикнув, поднимается и подходит к стене с ключами. На пробковой доске их два десятка. Осмотрев их очень внимательно, как осматривают полки, выбирая подходящую книгу, старик с тихим: «Ага!» снимает ключ с нижнего угла доски. Мона понятия не имеет, чем этот ключ отличается от других. А старик подносит его к губам и дует. Заметное облачко пыли взлетает к лампе под потолком.

– У вас тут давненько не было клиентов? – спрашивает Мона.

– Очень давно, – отвечает старик и с улыбкой протягивает ей ключ.

Мона протягивает руку навстречу.

– Сколько?

– Сколько? – Он в недоумении отдергивает ключ. – За что?

– За... номер?

– О, – восклицает старик не без досады, словно позабыл о ненужной формальности. Положив ключ и снова крикнув, он начинает перебирать бумаги на столе. При этом замечает погибшее растение, останавливается, склоняется к нему, рассматривает. Потом поднимает глаза на Мону и говорит сурово: – Моя пальма умерла.

– Я... мне очень жаль.

– Она была очень старая.

Он, очевидно, ожидает ответа. Мона решается на: «О?»

– Да. Она у меня почти год. Поэтому я ее очень любил.

– Что ж, это понятно.

Старик просто смотрит на нее.

Мона добавляет:

– К вещам, с которыми долго прожил, привязываешься.

Он продолжает смотреть. Моне становится не по себе. Мелькает мысль, не впал ли старик в маразм, но тут что-то другое: ей очень беспокойно в этой большой темной конторе, где освещен и осязаем один угол, а остальное от нее скрыто. Ей почему-то кажется, что они здесь не одни. Когда старик возвращается к бумагам, Мона оглядывается по углам – по-прежнему пусто. Может, эту жуть нагнали увиденные похороны.

– Не знаю, что мне теперь с ней делать, – бурчит старик. – Она мне очень нравилась. Но, надо полагать, так бывает. – Фыркнув носом, он извлекает из груды старых бумаг маленький листок для записок, пристально его рассматривает, как туза в покерной сдаче, и объявляет: – Двадцать долларов.

– За ночь?

– Похоже на то, – мрачно отвечает старик, возвращая листок на стол.

– Так вы... не знаете, сколько берете за собственные номера?

– Здесь разные номера и цены разные. Я их забыл. И гостей у нас давно не бывало.

Мона, глядя на пыльные груды бумаг, легко ему верит.

– А можно спросить, как вы при этом еще не закрылись?

Он отвечает, подумав:

– Думаю, вы бы сказали, что здесь нет недостатка в доброте.

Мона почему-то чувствует, что старик говорит правду. Но ее это не слишком утешает.

– Просто любопытно – ваш мотель единственный в городе?

Он снова размышляет над вопросом.

– Если есть другой, я о нем не знаю.

– Думаю, это честный ответ.

Мона достает из сумочки двадцатку и вручает хозяину. Тот зажимает деньги в кулаке, как ребенок, и снова пристально смотрит на нее.

– Вы здесь прежде бывали?

– Здесь? В Винке?

– Да, в Винке.

– Нет, первый раз.

– Хм. Позвольте тогда, я покажу вам номер.

Он берет ключ, так и не выпустив двадцатидолларовой купюры, и идет к двери. Выходя за ним, Мона оглядывается на стол. На нем не видно ни пистолетов, ни оружия, ничего подозрительного. Но все же что-то ее беспокоит, как крошечная ранка во рту. Что-то тут не так.

У двери она бросает взгляд на китайские шашки. На доске что-то переменилось. Мона не понимает, откуда такая уверенность – что ни говори, здесь темно, да и не присматривалась она к доске, – но не сомневается, что шашки переставлены, словно кто-то сделал сложный ход. Хотя, может быть, старик просто задел столик, когда вставал.

Он ведет ее вдоль ряда дверей. Темнеет здесь очень быстро. Недавно небо было яркосиним, потом подернулось розовым, а теперь в нем мягкая тусклая лиловость, обрезанная взметнувшейся в небеса плоскостью столовой горы. С наступлением вечера заметно похолодало, и Мона жалеет, что не захватила зимней одежды.

– Как вас зовут? – спрашивает старик.

– Мона.

– Я Парсон, Мона. Очень приятно познакомиться.

– И мне.

– Хорошо, что вы заночуете здесь. – Он указывает на темные деревья, расплзающиеся вверх по склону. – Местность вокруг Винка небезопасна, особенно ночью. Я бы не советовал выходить по ночам, особенно за пределы города. Потеряться недолго.

– Представляю, – соглашается Мона, вспоминая крутые холмы и внезапные обрывы. – Можно вас спросить?

Парсон задумывается, как над серьезным предложением.

– Наверное, да, – наконец решает он.

– Я искала это место на всех картах, какие могла достать, но...

– Правда? – удивляется старик. – Зачем?

– Ну... я не хочу пока говорить лишнего, поскольку ничего не решено, но... кажется, я получила здесь дом в наследство.

Парсон вглядывается вдаль.

– Вот как? – тихо произносит он. – И который же дом, смею спросить?

– На Ларчмонт – так мне сказали.

– Понятно. Знаете, я, наверное, помню этот участок. Он заброшен. Но в очень неплохом состоянии. Так говорите, в наследство?

– Так получается по всем бумагам.

– Как любопытно, – говорит Парсон. – Не припомню, когда к нам приезжали новые люди. Если так, вы станете большой диковинкой.

– Я об этом и хотела спросить. Может, к вам никто не приезжает, потому что никто о вашем городе не знает? Его же нет на картах. Это не случайно? Из-за лаборатории в горах?

– Лаборатории? – Парсон озадачен.

– Да. Кобурнская национальная... да, и обсерватория.

– О! – Старик улыбается. – Боже мой. Если вы ищете там работу, боюсь, опоздали лет на тридцать.

– В каком смысле?

– Кобурнская много лет как закрыта. В конце семидесятых, если не запамятовал. Не знаю точно почему. По-моему, они так и не получили, что обещали. Лишились финансирования. Винк, знаете ли, вокруг нее и строился.

– Да, я так и поняла.

– Вот как? – повторяет он. – Ну что ж. Когда они закрылись, мы все тут и остались. Куда нам было деваться? Думаю, с карт нас убрали спокойствия ради. Чтобы шпионы не пронюхали про лабораторию, как-то так. А теперь про нас не помнят и вернуть на карты забыли. Мне, честно говоря, по душе покой и тишина. Хотя бизнес страдает.

– А можно еще спросить?

– Вы уже спросили – не вижу, что вам мешает повторить.

– Вы не знали здесь такую – Лауру Альварес?

– Здесь, в Винке?

– Да-да. Она, должно быть, уехала лет тридцать назад. Работала в лаборатории в горах. Я хочу о ней узнать. Она... была моя мама.

– Хм-м, – тянет старик. – Боюсь, не сумею помочь. Я не слишком общителен. Помню совсем немного имен.

– Даже в таком маленьком городке не знаете?

– Маленьком? – переспрашивает он. – Разве он так уж мал? – Подняв взгляд, он изучает домики и выбирает один. – Ну, вот мы и пришли. Наш номер для новобрачных.

Он смотрит с улыбкой, но двери не открывает.

– Спасибо, – говорит Мона.

– На самом деле у нас нет номера для новобрачных, – объясняет старик. – Я пошутил.

– Ну и ладно.

Отперев и открыв дверь, он впускает Мону внутрь. Ковер – бурая шкура, лампы на стенах из оленьих рогов. Покрывало на кровати расшито цветными ромбами – Мона узнает орнамент коренных американцев – и выглядит достаточно уютным.

– Телевизор, – твердо объявляет Парсон, – не работает.

– Ну и ладно.

– Я помогу вам устроиться, – предлагает он, делая движение к ее машине.

– Ничего не надо, – отказывается Мона. – У меня все вещи в сумке.

Остановившись, он шурится на сумку.

– О... – В его голосе звучит досада и разочарование. – Ну, хорошо.

– Здесь где-нибудь можно хорошо поесть?

– Есть закусовая, но закрылась на похороны.

– А, да, я видела. Кто умер, не мэр ли?

– Важная особа, – отвечает он. Однако добавляет: – Якобы.

– А вы не пошли на похороны?

Он отвечает ей загадочным взглядом, лицо вдруг замыкается.

– Я не хожу на похороны. Моему положению это не подобает. К счастью для вас, я предлагаю новым гостям бесплатный завтрак. Могу, если хотите, подать сейчас, а не утром.

– Буду очень обязана.

– Превосходно, – говорит он. – Скоро вернусь.

И он поворачивается и шаркает обратно через стоянку.

Моне в жизни доводилось встречаться со странными людьми, но этот, сдаётся ей, на первом месте. Подумать об этом дальше она не успевает – в небе вспыхивает свет. Вздогнув, она поднимает глаза и видит собравшиеся над горами за плоскогорьем голубые облака. Облака маленькие, но свирепые: каждое раз в полминуты сверкает молнией, отчего горы словно коронованы сплетением голубого неона. Совершенно неземное зрелище: островок хаоса в мирном ночном небе.

Только теперь она замечает, что встала луна, но в ней есть что-то необычное. Мона не сразу соображает что.

– Розовая, – произносит она вслух. – Почему луна розовая?

Ей отвечает голос Парсона из-за спины:

– Здесь всегда такая.

Оглянувшись, она видит подкравшегося старика. Он принес алюминиевый поднос, на нем сэндвич с яйцом и сосиски – словно только что из торгового автомата. Забавно, рядом на подносе «Корона» и печенье «Поп-тарте».

– Бон аппетит, – говорит Парсон.

Глава 6

«Каждую ночь одно и то же», – думает Болан. Каждую ночь в «Придорожный» вваливаются шоферюги, провонявшие дешевым табаком и застарелым потом, недосыпом и клаустрофобией, полуослепшие от бесконечных дорог. Каждую ночь заказывают те же напитки, требуют тех же песен и так же невнятно завывают под музыку. Один и тот же сброд, надирающийся чем попало, и каждую ночь их приходится выволакивать за дверь, сваливать на стоянке. (И всего три месяца, как Циммерман с Ди вытащили одного и оставили продышаться под кузовом лесовоза, а утром нашли окоченевшим, бледным и неподвижным, с залитым кровью глазом и выломанными под разными углами пальцами; парни признали, что перестарались, и тот человек так и спит где-то в лесу под камнями и хвоей, и порой Болан гадает, кто там еще с ним.) И наконец, водители грузовиков понемногу подбираются к девицам снизу и остаток вечера проводят в задних комнатах, выманивая у девушек услуги или позволяя выманить у себя деньги. Часа в три, в четыре они вываливаются из своего жалкого тумана и ковыляют на стоянку – отоспаться в кабинах. А потом, перед самым рассветом, подбив счет и перепроверив чеки, Мэллори тихонько поднимется в кабинет Болана и сообщит, какую прибыль дала эта ночь.

Прибыль почти всегда хороша. Часто очень, очень хороша.

И каждую ночь, думает Болан, засмотревшись в окно кабинета, над горами молнии и круглая красновато-розовая луна. В какой бы фазе ни была луна, какая бы ни стояла погода. Вот из чего состоит мир Болана: красноватая луна, «Придорожный» и голубые молнии над вершиной.

Ну, может, не только из них, не без горечи думает Болан. Всегда есть маленькие услуги, которые приходится оказывать заправилам. Но где бы он был без них? Уж точно не здесь, слушая Дэвида Дорда, самого малоумного обитателя «Придорожного», за исключением разве что девушек снизу. Во всяком случае, некоторых. Пара шлюх довольно смекалисты. Уж точно поумнее Дорда.

Болан снова поворачивается к нему.

– Что значит: прошло хорошо? – Он заглушает удары музыки снизу. – Как могут похороны пройти хорошо? Какого успеха ты от них ждешь, Дорд?

– Ну, не знаю, – отвечает тот. – Кладешь мудака в землю и надеешься, что он там и останется. Потом священник говорит, что так положено, и дело с концом. Я так рассуждаю.

Болан медленно моргает.

– Очень низкая планка, Дэйв, – говорит он и жалеет, что в «Придорожном» этой ночью так оживленно: этого разговора он страшился весь день и хотел бы слышать как можно яснее. – Подумай, Дэйв, – просит он. – Окажи услугу, подумай хорошенько. Кто-то что-то сказал? Кто-то хоть что-нибудь сделал? Что-нибудь необычное? Мне просто любопытно, Дэйв. Просвети меня.

Дэвид Дорд, который в траурном костюме похож на нарядившегося в отцовскую одежду ребенка, только жмет плечами и мотает головой.

– Том, это же похороны. Не место для болтовни. Никто не рвался обсуждать дела или еще какую хрень.

– Насколько ты заметил.

– Да, насколько я заметил.

Болан так же медленно моргает. Он уже жалеет, что послал Дорда. Будь у него выбор, отправил бы Циммермана, заведующего охраной «Придорожного», – на того всегда можно положиться. Но после работенки на горе Циммерман, понимал Болан, на похоронах мог бы и сгореть. Он дал Циммерману две недели отпуска и надеялся, что тот проводит время в тишине за закрытыми дверями, может, с одной из девиц, хотя тогда с тишиной сложнее. Двоих дру-

гих – Норриса и Ди – Болан держит при «Придорожном». Оба молоды и, как большинство помощников Болана, довольно глупы, и та ночь была для них первым настоящим испытанием. Болан должен проверить, не сломались ли они. Пока Ди держится, что его не удивляет: мальчик так привык полагаться на свою внешность и мускулы, что его оставшийся недоразвитым ум не оценил опасности. А вот с Норрисом... тут Болан не так уверен. Малыш определенно не в себе. Болан считает, что лучше его пока не отсылать, даже в качестве шофера.

Но винить Норриса он не может. Циммерман рассказал Болану, что случилось там с Митчеллом. Комната просто *не кончалась*... и, хотя Норрис внутри и не был, Болану известно, как тревожат такие места. Есть в Винке места, куда просто не ходят.

Но все это означало, что на похороны, кроме Дорда, послать некого. А Дорду Болан бы масло на хлеб намазать не доверил. Его тошнит при виде мягкого как тесто лица и тусклых глазок. Лучше бы он послал Мэллори. Мэллори бы справилась и собрала бы целую грудку новостей. Но Мэллори так хороша, что для нее у Болана на эту ночь нашлось другое порученьице, за которое он переживает больше, чем за похороны.

Он смотрит на часы. Пожалуй, уже скоро.

– Значит, все прошло тихо, – говорит Болан.

– Да.

– И никто ничего интересного не упоминал.

– Интересного?

– Например... что дело нечисто?

– Нет, – говорит Дорд.

Болан холодно улыбается.

– Это маловероятно, Дэйв.

– Почему? По-моему, вы сказали, там все прошло хорошо.

– Хорошо. Довольно хорошо, надо полагать. Но люди знают, что происходит.

Он сдвигает стул, чтобы снова уставиться в окно. Ночь черная, ветреная, и ему видны сосны, качающиеся в голубом свете фонарей над стоянкой.

– Знают, что не все ладно. Просто не знают, могут ли они что-то поправить.

– Да ведь и не могут, верно?

Болан еще минуту смотрит в окно, наблюдает за пляской деревьев. Болан из тех мужчин, что последние тридцать лет выглядят лет на шестьдесят. На голове ни волоска, кроме бровей и маленькой снежно-белой эспаньолки, припухшие глаза укрыты тяжелыми веками. Лицо не из выразительных: лучше всего ему удается циничное разочарование, как будто он ничего хорошего от мира и не ждал, да и не дождался. Удачно – или, может быть, неудачно, – что в большинстве случаев это выражение оказывается самым уместным.

Внизу бьется стекло, кто-то вскрикивает. Болан рассеянно замечает:

– Ступай вниз, помоги Норрису. Похоже, сегодня толпа.

– Проклятые шоферюги, – цедит Дорд, вставая.

– Да, проклятые шоферюги.

Болан не смотрит вслед Дорду. Просто слышит ворвавшуюся в открывшуюся дверь музыку, которая глохнет, когда дверь снова закрывается. Болан постарался звукоизолировать свой кабинет, ведь он, хоть и содержит придорожный мотель, терпеть не может кантри, особенно нэшвиллский⁴. Но музыка все равно прорывается.

Болан открывает ящик сбоку письменного стола. В этом ящике он хранит две главные свои опоры: заряженный «Магнум.357» и четырнадцать ярко-розовых пузырьков с «Пепто-бисмол». Тихо крякнув, Болан достает пузырек, сдирает защитный пластик с крышечки и отворачивает ее. Он отбрасывает крышечку-мензурку – предписанная доза уже год как не дей-

⁴ *Нэшвилл* – столица музыкального стиля кантри.

стует, – открывает другой ящик, со стаканами и бумажными салфетками. Стакан он до краев наполняет густой розовой микстурой и без колебаний опрокидывает в себя. С легким вздохом он ставит испачканный молочно-розовым осадком стакан. Может быть, это усмирит бушующий в его пищеводе кислотный океан, а может, и нет. Взяв в руки опустошенную бутылочку «Пепто», Болан прикидывает расстояние от стола до мусорной корзинки около бара, откидывается на спинку стула и швыряет. Пузырек, перевернувшись в воздухе, отскакивает от края корзины и со стуком падает на пол. Опять раздраженно крикнув, Болан встает, чтобы его подобрать.

Поднявшись, он бросает взгляд за окно и замирает. Сосны все так же раскачиваются, и стоянка все так же полупуста.

«Объявятся ли сегодня?» – гадают он. Должны бы. Слишком много произошло, чтобы не вмешались. Но могут и не объявиться. В последнее время их стало труднее предсказывать и понимать. Что о чем-то говорит, для них.

Болан не из коренных жителей Винка, да и «Придорожный» не принадлежит к городу. Но и близость их не совсем случайна. Десять лет назад Болан прослышал, что по этому шоссе вскоре двинется много грузовиков и там самое время открыть стоянку, но те, кто об этом говорил, ошибались: все движение на Санта-Фе пошло совершенно другим путем, минуя его. В отчаянии Болан стал выяснять, не поддержат ли «Придорожный» соседние поселки, но все они оказались слишком далеко. Кроме, конечно, Винка.

Первые несколько лет Болан сомневался, существует ли этот Винк. Кое-кто из местных о нем рассказывал – мол, правительство не один десяток лет назад вело там работы, – но никого из Винка Болан не встречал и уж точно ничего туда не сбывал. Однако однажды утром, катаясь по горам в невеселых раздумьях о гибнущем предприятии, он взглянул вниз и обнаружил невиданно симпатичный городок, приютившийся на дне долины.

Болан остолбенел. Он понятия не имел, что там что-то есть. Искать дорогу вниз пришлось несколько часов. Быть может, подумалось ему, потому-то он и не видел жителей Винка – поди разберись, как в него попасть. Но, проезжая по городским улочкам, дивясь очаровательному городку, по соседству с которым он прожил бог весть сколько, он заподозрил иное.

Винк выглядел исключительно приятным местечком. Здесь и солнце, казалось, светило по-другому, и деревья были больше, и мостовые такие девственно чистые и белые... Болан даже остановил машину, чтобы полюбоваться на играющих в бейсбол мальчишек. Ему не помнилось таких блаженных игр, как этот маленький матч с тремя переходами подачи, а жаль.

Быть может, из Винка никто не выезжал потому, что покинуть его было бы безумием. При всем желании никто не назвал бы городок оживленным, зато все здесь выглядели такими довольными жизнью.

Наконец Болан поймал на себе несколько подозрительных взглядов, в основном со стороны родителей. Тогда он сообразил, как странно выбивается из окружения, наблюдая за детской игрой из своего ярко-красного «Камаро». Жители, выходявшие за чем-либо из домов, задерживались на лужайках, чтобы посмотреть на него. Никто ничего не сказал, но намек был ясен. «Мы тебя пока терпим, но это не значит, что мы тебе рады».

«Маленькие города, – думал Болан. – В таких всегда недолюбливают чужаков». Он завел машину, отъехал и в заднее зеркало смотрел, как городок теряется среди холмов. Открытие показалось ему интересным, но бесполезным – вряд ли кто из этих людей стал бы посещать «Придорожный».

Но три года назад у него объявился визитер из Винка. И что за чертовщина – Болан теперь не мог вспомнить, как тот выглядел. Запомнился яркий свет в кабинете и мужчина с портфелем перед рабочим столом... и кое-как вспоминался его серо-голубой костюм и панамы, но свет падал так, что шляпа бросала тень на лицо...

Зато сказанное этим человеком Болан очень хорошо запомнил.

Он взглянул на странного, неприметного типа, усевшегося перед столом прямо, словно аршин проглотив, и вздернул бровь, услышав:

– Мне сказали, у вас темная полоса.

– Кто бы ни сказал, шел бы он на хрен, – ответил тогда Болан.

Минутная пауза. Однако Болану не показалось, что посетитель оробел или обиделся.

– У нас к вам деловое предложение, – сказал он.

И Болан ответил:

– О, и что же за предложение?

А посетитель сказал:

– Опустите, пожалуйста, шторы.

– Шторы?

– Да, шторы на окне за вашим столом. И я вам покажу.

Когда он опустил шторы, мужчина открыл портфель, и в нем, уложенные плотно, как укладывают носки или белье, лежали пластиковые мешочки с очень ярким, чисто-белым порошком.

– У нас к вам деловое предложение, – повторил гость.

И Болан его выслушал.

Болан и до сих пор не знает точно, откуда берется героин. Где-то у них кто-то есть, скорее всего, в Мексике, так он догадывается, поскольку с границей в наше время бог весть что творится. Но Болан, уже приторговывавший понемногу к тому времени, как явился посетитель из Винка, сумел теперь выстроить в горах весьма достойное маленькое королевство и основательно разбогател. Его дело в основном доставка: он работает не поставщиком, а кладовщиком. Не знает он, ни как все устроено, ни зачем его гость из Винка все это затеял. Ну вот на черта Винку – городишке в глухой глуши – торговать наркотиками?

Болану это неизвестно. Зато, хотя в своих владениях он и полный владыка, он знает, что его королевство лишь часть другого, большего. Но не в курсе, кто там правит, и есть ли в нем король, знает только, что нажил состояние благодаря чужой прихоти и что он, как и Дорд, Норрис, Митчелл (от которого, напоминает он себе, больше проку не будет), получает приказы и исполняет без рассуждений. Он уже не беспокоится, как бы они не перекрыли ему кран, – теперь он гадает, что сделают они, если он откажется.

Болан не дурак. Он не станет кусать кормящую его руку. Но он присмотрелся к этой руке, и увиденное его глубоко встревожило.

Вот почему Болан после того первого раза никогда не возвращался в Винк. Он не вернется туда даже под угрозой пистолета. Теперь он знает, что там такое.

Он подходит к корзине, подбирает и выбрасывает в мусор пузырек от «Пепто». Возвращаясь, замечает что-то на уголке стола: мягкую кляксу. Должно быть, капнуло из летящей бутылочки. Болан вытирает каплю пальцем. Пятно не отходит, но размазывается.

Стук в дверь.

– Войдите, – говорит он.

Дверь открывается, входит Мэллори. Он усмехается, увидев на ней цветастое летнее платье на ярд длиннее обычного. Конечно, она нарядилась так неспроста: в Винке на ее обычную одежду оборачивались бы, цокали языком – словом, обращали бы слишком много внимания.

Мэллори смотрит мрачно.

– Что смешного?

– Председатель родительского комитета? – осведомляется он.

– Шел бы ты... – Она, покачивая висящей на плече полотняной сумочкой, подходит к бару и наливает себе полный стакан скотча. Повторяя подвиг Болана с «Пепто», заглатывает залпом, не моргнув глазом. Мэллори на диво талантливая женщина, Болану это известно, но она еще и виртуозная выпивоха. Во времена основания «Придорожного» она была первой из

девиц, за полчаса подвальных радостей вытряхивала из парней куда больше дневного жалования. После визита из Винка заведение обзавелось клиентурой, и они наняли новых девушек, а она стала управляющей нижним этажом, обеспечивая девицам все необходимое. Болан знает: чтобы справляться с такой работой, надо обладать острым глазом на человеческие слабости и беспощадным умением на них играть. В Мэллори это есть, и она по негласному уговору стала в «Придорожном» номером два.

Она наливает себе по второму разу, но Болан не дает ей выпить – подходит и мягко отбирает стакан.

– Как прошло? – спрашивает он.

– Она при мне, видишь же? – Мэллори приподнимает и опускает плечо с сумочкой.

Болан пристально оглядывает ее.

– При мне, – повторяет она. – Все хорошо.

– Ты кого использовала?

– Одну наркошу.

– Кого? – настаивает Болан.

– Девочку зовут Бонни, – отвечает Мэллори. – Ты ее не знаешь.

– Ту же, что в прошлый раз?

– Да. Но больше, по-моему, ее использовать не удастся.

– Это почему же? – поднимает бровь Болан.

– Она уже никуда не годится, Том. – Мэллори забирает свой скотч и заглатывает, хлюпнув горлом и скрипнув зубами. – Не только потому, что совсем скололась. Она поняла, что мы заставили ее заниматься чем-то жутко странным. Только не сообразила чем.

Болан отвечает слабым неприятным смешком.

– Неудивительно.

Сняв у нее с плеча сумку, он относит ее на стол и расстегивает молнию.

Внутри полированная деревянная коробочка размером с ящичек для сигар. Эту не обматывали клейкой лентой и не перевязывали: в таких предосторожностях нет нужды. И все-таки он берет ящичек в руки с большой опаской.

– Она говорит, за ней следили, – сообщает Мэллори.

Болан поднимает глаза.

– Кто?

– Она не знает. Говорит, видеть она никого не видела. Но чувствовала, что оно рядом.

– Оно?

– Так она сказала.

Болан поджимает губы, потом садится на пол у стола. Под ним, слева от него, толстостенный металлический сейф.

– Это все, что она сказала?

Он слышит звон бутылки со скотчем о край стакана и отчетливое хлюпанье, с которым виски втягивается в глотку.

– Господи, нет! Она болтала без умолку. Но сказала, что, когда мы ее послали за... этим, кто-то за ней наблюдал. Том, она почувствовала что-то там, под землей. Оно следило, как она вошла, и как взяла, и как вышла. Но она сказала, что, когда вышла, оно последовало за ней и следит до сих пор.

Болан крутит диск, открывает сейф. По словам продавца, стенки такие толстые и непроницаемые, что в нем можно хранить уран и годами спать рядом, не боясь рака. То, что собирается положить в него Болан, не радиоактивно – во всяком случае, насколько ему известно, – и все равно он бы предпочел защиту понадежнее. Только, будь сейф еще плотнее, под ним бы, пожалуй, пол провалился.

Он устраивает ящичек на коленях. Но, прежде чем открыть крышку, спрашивает:

– Ты ей веришь?

– Верю? Шутишь? Конечно, нет, у нее мозги набекрень.

Болан слабо улыбается. Он такого ответа и ждал. Мэллори не из легковверных. А жаль, потому что Болан, пожалуй, знает о происходящем в Винке больше всех и потому не презирает подобных историй. Слишком многое оказывалось правдой.

Бережно сдвинув бронзовый крючок, он задерживает дыхание и открывает крышку.

Внутри на темно-зеленом бархате лежит крошечный череп. Большинство сочло бы это зрелище гротескным, но непримечательным: всего лишь голый выбеленный череп какого-то грызуна вроде мыши или крысы. Болан знает, что это череп кролика. Или *выглядит* черепом кролика. Он изучил их сообщения, и, хотя напрямик ему не говорили, что он должен получить – и что, в свою очередь, кто-то должен получить для него, – между строк он читает не хуже других.

Это только *выглядит* кроличьим черепом. Болану известно, что на самом деле в нем кроется гораздо больше.

Он закрывает ящичек, снова накидывает крючок и, поместив ящик в сейф, запирает его. Затем чуть вздыхает. Становится чертовски трудно не укунить кормящую руку. Встав, он видит, что Мэллори смотрится в зеркало за полками бара. Она выглядит несколько взвинченной. Это странно: Болан видел, как Мэллори, глазом не моргнув, перевязывала ножевые ранения и откачивала перебравших наркоманов, так что он и не подозревал, что ее можно вывести из равновесия.

– Что такое? – спрашивает он.

– М-м? О, ничего. Просто задумалась о ее словах.

– Той наркоши?

– Угу. Она просилась со мной. Хотела вернуться сюда, представляешь? И не ради дозы, ничего такого. Не хочет оставаться одной по ночам. Сказала, что у нее сны переменились.

– Это как?

– Она говорит, ей теперь каждую ночь снится одно и то же, – чуть слышно, не отрывая глаз от зеркала, объясняет Мэллори. – Снится мужчина, стоящий в ее спальне. Очень высокий, в грязно-голубом полотняном костюме. И по всему костюму нашиты деревянные кроличьи головки. А у самого голова... говорит, что не знает, шлем это или маска, вроде как у индейцев, но она тоже деревянная, разрисована под кроличью, с парой остроконечных ушей. Он стоит и, хотя глаз ей не видно, смотрит на нее. Ты ей веришь, Том?

Болан молчит. Он снова вспоминает рассказ Циммермана: свет среди деревьев и потом – наблюдавший за ними человек. Они ничего не смогли разглядеть, кроме торчащих над головой рогов – или, может быть, ушей.

Он внимательно смотрит на Мэллори. Мальчишкам он кое-что рассказал о предстоящем на горе деле – не многое, но с них хватило, – однако Мэллори подобралась очень близко к истине, которую Болан предпочел бы скрыть.

– Иди сюда, – подзывает он ее жестом. Мэллори подходит к столу. – Сядь, – просит он, и она слушается – ей любопытно. – Давай я тебе расскажу, что мы будем делать, Мэллори, – предлагает он. – Работа деликатная. И делать ее надо деликатно. Но еще большая деликатность нам понадобится не здесь, а там.

– Что значит – деликатная?

Болан открывает ящик стола, достает из него пластиковый мешочек с белым порошком. Кладет перед ней на край стола.

– Зарядиться предлагаешь? – Мэллори это забавляет.

Болан, невесело улынувшись, качает головой.

– Нет, не предлагаю. Эта дрянь не чистая, Мэл. Совсем наоборот. Примешь ее, и через час ты бледная и окоченелая. Понятно?

Мэллори бросает еще один взгляд на пакетик.

– Нет.

– Ну давай объясню. Довольно скоро – не сейчас, но скоро – тебе надо будет вернуться к этой твоей девице...

– Бонни.

– Да, Бонни. Вернешься к ней и отправишь еще раз пробежаться по тоннелю.

– Она не захочет, Том, – напоминает Мэллори. – Она и так уже трясется.

– Ну, это паршиво, потому что тебе придется ее заставить. Выбора у нее не будет. Добрая подружка Мэллори не торгуется.

Мэллори отвечает не сразу.

– А чем ее купить?

Он опять улыбается.

– Мэллори скажет, что у нее есть качественное снабдьё и она с радостью поделится, если Бонни окажет ей еще одну маленькую услугу, – говорит Болан. – Ради нас.

Затянувшееся молчание нарушают только доносящиеся снизу вопли.

Мэллори рассматривает белый пакетик.

– А это зачем? – спрашивает она.

Болан с ненавистью смотрит на нее из-под тяжелых припухших век.

– Ты что, полная дура, Мэл? – интересуется он. – Только не прикидывайся полной дурой. Потому что я тебя знаю и знаю, что ты не дура. Ты даже очень умна. Я тебя за то и держу, не так ли?

– Я не... такого я не могу.

– Сможешь и сделаешь. Ты это сделаешь, Мэл. Будет так. У той девицы в голове чересчур много историй. Правда, она отменно на нас поработала, но становится слишком жарко, чтобы позволить ей разгуливать. – Болан кивает на пакетик. – Это легкий выход. Мы ведь не хотим тяжелого? Я знаю и тяжелый, Мэл, и он будет тяжелым для всех.

Мэллори переводит взгляд с пакетика на Болана, и в глазах ее блестит сталь.

– Кто велит это сделать? Ты? Или они?

Болан отвечает бесстрастным взглядом.

– Это все равно.

– Нет, не все равно.

– Все равно. Потому что, если это так или иначе случится, несущественно, кто отдал приказ.

Мэллори немного бледнеет, но стали во взгляде все больше. Болана ее реакция забавляет и удивляет; правда, Мэл сама никого не убивала, но видела, как умирают люди. «Какая разница, – думает он, – кто выполнит само действие».

– Для кого они? – спрашивает она.

– Что «для кого»?

– Черепа. Я знаю, зачем был последний. Бога ради, его только сегодня похоронили. Так для кого будет этот? – Глаза у нее прозрачные. – И, если ты велишь мне опять ее послать, следующий?

Болан, все это время сидевший неподвижно, совсем застывает. А потом встает, обходит стол и садится рядом с ней. Он с разочарованием рассматривает ее из-под век. Они ведь не убийство обсуждают: речь о бизнесе, а Мэл ему препятствует.

Он со свистом втягивает воздух ноздрями и выдыхает. Потом выбрасывает тяжелые лапы боксера, хватает Мэллори за виски. Мэллори вскрикивает, отталкивает его, но Болан очень силен и этот танец разучил слишком хорошо.

Он притягивает ее к себе так близко, что дышит прямо в лицо.

– Ты будешь делать дело? – выдыхает он. – А? Лучше сделай его, девочка, до хрена лучше будет. Потому что, хоть ты мне и нужна, и вправду нужна, работа тебе досталась легкая. Я же не прошу всадить в нее пулю или зарезать, а мог бы, и думаю, ты бы послушалась. Я просто прошу дать ей дозу. И ты дашь ей дозу, Мэл. Потому что, как я уже сказал, тяжелый способ тяжел для всех, но тяжелей всего для тебя.

Мэллори стонет, визжит и отбивается, но Болану известно, что внизу никто не услышит.

– Что скажешь? – пыхтит он. – Что скажешь, Мэл? Что скажешь, дрянь?

И он замолкает. И она замирает неподвижно.

На его столе разгорается белый огонек. Оба смотрят, окаменев. Потом переглядываются, не зная, что делать.

У Болана дергаются губы. Отпихнув Мэллори, он встает.

– Сиди, где сидишь, – приказывает он.

Мэллори хохочет и с ухмылкой смотрит на него.

– Стоит им свистнуть, бегом бежишь, да?

Болан замахивается на нее, и она, съжившись, вскидывает руки. Но Болан опускает кулак, поправляет воротничок.

– Сиди, где сидишь, дрянь, – повторяет он и, сделав два шага, открывает дверь стенового шкафа.

За дверью низкий темный проход с пенопластовой звуконепроницаемой обшивкой. Единственная лампочка без абажура свисает на проводе с потолка в дальнем конце. Эта лампочка горит всегда. Болан меняет ее каждые две недели.

Под лампой очень странное сооружение. Оно установлено на маленьком железном подножии и прикрыто высоким стеклянным куполом. На круглом, большом и тяжелом основании громоздятся рычажки и колесики. Самое большое колесо раскручивает большой рулон белой ленты, и машина, весело щелкая и клацая, печатает на ней. Когда-то, десятки лет назад, она распечатывала биржевые курсы, записывала рост и гибель состояний, сматывая на землю груды финансовых новостей. Но Болану известно, что сейчас она записывает вовсе не биржевые новости. Тщательно прикрыв за собой дверь, он запирает замок. Дверь тоже снабжена звукоизоляцией. Он не может себе позволить утечку разговоров, которые здесь ведутся.

Набрав воздуха в грудь, Болан подходит к биржевому телеграфу. Машина только что отпечатала короткое послание, сложенное из аккуратных четких букв. Взяв кусок ленты (и очень стараясь не замечать, как дрожат руки), Болан читает:

КТО БЫЛА ТА ДЕВУШКА

– Что? – Болан обращается не к аппарату, а к воздуху над ним. – Какая девушка? О какой девушке речь?

Он не знает, подразумевают они Бонни, или Мэллори, или даже кого-то из других, использованных для... не важно для чего – девиц? Болан жонглирует таким множеством тарелок, что иногда рук не хватает.

Несмотря на звукоизоляцию и на то, что рядом никого не видно, на ленте отщелкивается ответ:

ДЕВУШКА НА ПОХОРОНАХ В КРАСНОЙ МАШИНЕ

– Не понимаю, о чем вы, – говорит Болан. – Я посылал своего человека на похороны. Он не видел... – Осекшись, Болан вздыхает, прикрывает глаза, потирает переносицу. «Долбанный Дорд, – думает он, не смея выговорить этого вслух. – Гребанный тупоумный тупица Дорд! Значит, ничего не видел, ничего не слышал?!»

Сглотнув, Болан произносит:

– Возможно, вы правы. Извиняюсь, что упустил из виду. Что я должен сделать?

Телеграф снова оживает. Печатает:

УЗНАТЬ, КТО ОНА

– Узнаю, – говорит Болан. – Обещаю узнать и сообщить вам. Больше от меня ничего не нужно?

Телеграф не отвечает. Он не умер, но впал в спячку. Когда-нибудь, возможно скоро, он снова оживет.

Оторвав ленту, Болан подпаливает ее зажигалкой. Потом роняет на пол и, дождавшись, когда бумага превратится в пепел, топчет ногой. Здесь весь пол черен от пепла. Это продолжается не один год. Сколько тайных приказов он получил? – вспоминает Болан. Сколько загадочных сообщений сжег на этом месте? Иногда они так просты: возьми ящик там, перешли его сюда, пошли кого-нибудь провести полоску краской по такому-то окну, пригрозил такому-то человеку, упомянув такую-то женщину, а то и отправляйся бродить по канализационной системе Винка в поисках узкого темного хода, оканчивающегося в круглой камере, где свалена груда мелких черепушек, и ты должен принести один череп такому-то лицу в такое-то место, но при этом ни в коем случае не прикасаться...

А теперь вот это. Для Винка новость, каких не случалось много лет, а Болан пропустил такое событие.

Пролетев по коридору, он врывается в свой кабинет. Мэллори вернулась к бару, успела причесаться и оправить одежду, словно ничего не случилось: насилие для нее дело привычное – что ей над другими, что над ней самой.

– Дурные новости? – спрашивает она.

– Приведи Дорда, – рычит Болан.

– Зачем?

Резко шагнув к ней, Болан выхватывает стакан и швыряет его в стену. Стекло разлетается, по багровым обоям расплзается темное пятно.

– Веди хренова Дорда, – чеканит он, – или, видит бог, будешь пить через соломинку, слышишь?

– Ладно, – равнодушно отвечает Мэллори и обдуманно медлительной, изящной походкой выходит за дверь, на лестницу вниз.

Болан еще минуту стоит, стиснув кулаки. Потом оглядывается на коридор с биржевым телеграфом. Он готов к тому, что рычажки задвигаются, отпечатают очередное жуткое распоряжение. Но нет, слава богу, аппарат молчит. Закрыв и заперев дверь, он приваливается к ней, словно изнутри что-то рвется наружу. Потом выдыхает.

Аппарат установили у него не так давно, после сговора с визитером из Винка. Ему никто ничего не объяснял: бригада, мелкие человечки с пустыми лицами, в серых комбинезонах, просто вручили подписанный на его имя конверт, вошли в «Придорожный» и принялись за работу. В конверте была карточка со словами:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ.

Три года с тех пор аппарат время от времени отстукивал ему приказы, и каждый раз, как Болан их выполнял, его состояние росло. Всего однажды он дал волю любопытству: проследил идущий к аппарату провод через весь «Придорожный», сквозь стены, по потолку, вниз по лестнице (и как механики успели за час? И не входили ли они, гадал он, когда мотель закрыт, не прокладывали ли других линий?) до выхода наружу, за край стоянки, где он спрятался в жестяную трубочку... и дальше в лес, где обнаружился открытый конец трубки. Болан опешил. Трубка никуда не ведет? Как это? Но окончательно он растерялся, когда, встав на колени, чтобы заглянуть в трубку, обнаружил, что разлохмаченный конец провода ни к чему не присоединен.

В ту же ночь биржевой телеграф отпечатал единственный приказ – на сей раз знакомое слово: **ВНИМАНИЕ.**

Теперь каждый раз, как аппарат оживает, у Болана чуть не останавливается сердце. Он не знает, откуда поступает сигнал и, как во многом другом, что относится к новому предприятию, в сущности, и не хочет знать.

Но иногда они присылают проверить, получил ли он сообщение. И в этот вечер, ожидая, когда ввалится Дорд с объяснениями, почему промолчал о девушке в красной машине, Болан гадает, придут или нет.

Он подходит к окну, но наружу не смотрит. Закрывает глаза в надежде ничего не увидеть. И открывает.

Из голубого пятна под дальним из фонарей стоянки на него кто-то смотрит. Фигурка так далеко, что выглядит крошечной... но Болан готов поклясться, что различает серо-голубой костюм, белую панаму и скрытое в тени лицо.

Белая шляпа чуть склоняется и поднимается: кивок. Потом ее владелец отступает в тень и исчезает.

Глава 7

Ночь в «Землях желтой сосны» не задалась. Застойный неподвижный воздух не давал спокойно уснуть, к тому же, хоть Мона и знала, что других постояльцев нет, ей все казалось – она не одна. А где-то в районе половины второго она проснулась – или ей показалось, что проснулась, потому что могло и присниться, – в полном убеждении: что-то не так, и, подойдя к окну, увидела на стоянке совершенно неподвижного человека, свесившего руки вдоль тела. Лицо и грудь его оставались в тени, потому что желтый уличный фонарь светил в спину. Хотя Моне при виде этого человека стало сильно не по себе, она не могла бы сказать, заметил ли он ее и смотрит ли вообще на мотель. Он напомнил ей беглеца из психбольницы, бесцельно скитающегося и не знающего, что делать со своей свободой в этом странном новом мире. «Не так уж я перепугалась, – думает Мона, поднимаясь и умываясь, – если после снова легла в постель».

Приведя себя в порядок, она идет искать Парсона. Утреннее небо ослепительной синевы, воздух холодный до хруста. Ей трудно примирить это небо с чернотой прошлой ночи, окаймленной голубыми молниями и отягощенной розовой луной.

Войдя в контору, Мона обнаруживает, что вчерашняя темнота абсолютно ничего не скрывала: в комнате ничего и нет, кроме карточного столика и конторки. Сколько места пропадает даром! Парсон сидит за столиком, играя в китайские шашки, словно и не вставал с места. Он слишком поглощен игрой, чтобы поднять глаза на вошедшую Мону: задумчиво поджимает губы, чешет висок и, собравшись сделать ход, вдруг передумывает, отдергивая руку, словно шашка смазана ядом. Он качает головой, безмолвно коря себя за глупость.

– Вы часто играете сами с собой? – интересуется Мона.

Он удивленно поворачивается к ней.

– Сам с собой? – Парсон улыбается, а потом и хохочет, словно услышал остроумную шутку. – А, понимаю. Сам с собой... очень хорошо!

Мона предпочитает сменить тему:

– Не знаете, как здесь работают суды по наследству?

Парсон, оставив стаканчик с кофе, задумывается.

– Насчет наследства не знаю. Здесь всего один суд и один судебный чиновник – миссис Бенджамин.

– Один? Как же это получается?

– Как мне кажется, прекрасно, – отвечает Парсон. – Здесь для суда не так много дела. Полагаю, и одного человека слишком много.

– И где эта миссис Бенджамин?

– В здании суда. Ее офис занимает почти весь подвальный этаж. Вам нужно только найти лестницу – любую – и спуститься. Там вы ее неизбежно найдете.

– А где суд? – Мона надевает очки от солнца.

– В центре парка, а он в центре города. Идите в город. Если выйдете на окраину – а до нее недалеко, – значит, прошли мимо.

– А улицу указать не могли бы?

– Мог бы, – отвечает Парсон, – но толку с этого мало.

– Хорошо, – кивает Мона и благодарит его.

– Вы голодны? – серьезно спрашивает Парсон, словно признание, что проголодалась, было бы равносильно признанию в преступлении. – Если да, я мог бы уделить вам еще один завтрак, хоть вы свой уже съели.

Мона, отбросившая привычку начинать утро с пива, вежливо отказывается.

– Когда нужно выписываться?

Парсон явно в сомнении: подходит к конторскому столу, перебирает карточки и бумаги и в конце концов пожимает плечами.

– Надо думать, когда будете выезжать.

– Можно, я оставлю здесь вещи, пока не разберусь, насколько задерживаюсь? Не думаю, что мне так просто отдадут дом.

Но Парсон уже снова высматривает в расстановке фишек на доске какой-то блестящий ход. Нетерпеливо отмахнувшись, он возвращается к игре и пустому месту напротив, так что ухода Моны не замечает.

Пока Мона проезжает через Винк, начинают включаться поливалки-разбрызгиватели – не разом, а так, словно фонтаны медленно и изящно шествуют от квартала к кварталу. Утренний свет подсвечивает струи белым сиянием, и, когда они начинают кланяться взад-вперед, каждая следующая медлительнее, чем предыдущая, Моне вспоминается синхронное плавание. Только добравшись до перекрестка, она соображает, как странно выглядят политые газоны здесь, на пустынном высокогорье, где до сухих зарослей меньше полумили. Она никак не ожидала найти здесь столько мягких ярких лужаек и оглядывается на вершины и столовую гору, проверяя, на месте ли они.

Городок вокруг оживает. Старуха ковыляет на крыльцо с лейкой, sprysнуть роскошную бугенвиллею, как будто вовсе не нуждающуюся в ее заботах. Отцы забираются в седаны и фургоны, кое-кто – в дорогие машины и медленно проплывают по бетонным улицам. Мона не сразу замечает, что видит в них не просто мужчин, а именно *отцов* – наверняка это они и есть, иначе зачем такие скромные, но внушительные костюмы и клетчатые рубашки и такие солидные приличные прически? Бога ради, один еще и трубку курит!

Матери в передниках пасут детей, подгоняя их по дорожкам к машинам: у каждого ребенка в руках жестяная коробка для завтрака. Мона, проезжая, немного сбрасывает скорость. Ей и хотелось бы не замечать, но совершенство этой сцены действительно поражает.

«Нет, – думает она, – не сегодня. Сегодня я туда не поеду».

Она прибавляет скорость.

Мона проезжает ресторанчик с огромными кривыми неоновыми буквами «Хлоя». Заведение, как видно, пользуется спросом: места на парковке расхватывают на глазах. Но особенно любопытным Моне представляется происходящее в переулке на задах. Она опять притормаживает, чтобы посмотреть: там стоят две женщины в светло-розовой униформе официанток, волосы у них подобраны, светлые колпачки сидят ровнехонько по центру. Одна гораздо старше и солиднее, с самоуверенной осанкой испытанного ветерана. Она стоит в стороне, наблюдая за второй – девушкой, по-чти подростком. Девушка ровным шагом движется по переулку, балансируя нагруженным подносом. Опытная пристально следит за ней, выкрикивает приказ, и девушка, круто развернувшись, шествует к другому концу переулка. На подносе, видит Мона, пять тарелочек под пироги, но вместо пирогов на них стеклянные шарики. Одна тарелка чуть наклоняется – всего-то на сантиметр влево, – и шарики со стуком катятся вдоль края. Девушка бледнеет, но выравнивается и проносит поднос по переулку с мрачной решимостью и осторожностью, достойной хирурга. «Учения», – улыбается про себя Мона и едет дальше.

Мона еще не задумывалась о жизни здесь, в Винке. Она унаследовала дом, а не жизнь, а от жизни она уже несколько лет решительно уклонялась, променяв ее на голые дороги и пустые комнаты мотелей. Но сейчас в каком-то отгороженном уголке сознания зарождаются фантазии о жизни в крошечном городке, где подача пирогов – серьезное искусство, достойное изучения, а фонтанчики поливалок каждое утро устраивают балетное представление.

Эта мысль ее греет. Мир для нее в последние годы был так велик, что заманчиво представить его таким маленьким.

Не удивительно, что мать была здесь счастлива. Правда, городок со странностями, но кажется, здесь трудно быть несчастливой. Мона вроде бы однажды видела такой во сне, хотя

она не помнит, когда и что ей приснилось. Что-то есть в этих чистых улочках и шорохе сосен, рождающих трепещущее эхо в ее сознании.

Мона замечает, что экскурсия по городу проходит не совсем мирно. Куда она ни сверни, за ней наблюдают. Она не винит местных: сама не может представить ничего неуместнее своего «Чарджера», сверкающего красной краской, утробно рычащего двигателем, не говоря уж о том, что женщина за рулем отвечает на их взгляды из-за зеркальных очков и многолетних наслоений выпестованного цинизма. Впрочем, горожане не просто удивляются, нет в них и недоверия; они словно ждут чего-то, как будто эта мощная яркая машина и ее странная владелица – оборванный конец, которым вскоре кто-то займется.

Парк в центре города довольно велик, спланирован как идеальный круг, половину которого занимает большое белое здание суда. Однако внимание привлекает вторая половина: сперва Моне кажется, что на ней стоит большой белый шар размером с домик, но, въезжая на стоянку перед судом, Мона видит, что шар угловатый, сложен из крошечных треугольников. Такую большую круглую штуку она девочкой видела в рекламе Диснейленда. Непонятно, зачем эту скульптуру космической эры установили в живописном маленьком парке. Можно подумать, она скатилась сюда с горы, а убрать никто не позаботился.

Войдя в дверь суда, Мона останавливается – резкий контраст интерьера с окружением не сразу укладывается в голове. Снаружи она видела веселенькое белое здание, а внутри, во всяком случае в вестибюле, душно и мрачно. Мона снимает темные очки, но светлее не становится; темные полы из мрамора болезненной желтизны, а стены – небрежная подделка под дерево. Где-то астматически сипит кондиционер, и сквозняк колышет пылинки в застойном воздухе.

Неприветливый охранник отрывается от книги. Движение его глаз для Моны вполне привычно: глаза чуть округляются, взгляд резко падает вниз, на ее ноги, затем медленно поднимается вверх, вбирая все подробности фигуры. Такая предсказуемость огорчает: без этого ритуала не обходится ни одна беседа с мужчиной (а случается, и с женщинами).

Не отрывая от нее глаз, охранник рассеянно переворачивает страницу книги – это «Тайные радости озера Шамплен», – но молчит.

– Я хочу видеть миссис Бенджамин, – говорит Мона.

Маленькие глазки охранника продолжают вглядываться в нее. Затем он кивает. Мона не знает, как понимать кивок, однако проходит дальше по темному коридору. Оглянувшись, она видит, что охранник склонился со стула, вытянул шею, провожая Мону глазами. При этом рука его опять переворачивает книжную страницу, хотя думает он о чем угодно, только не о чтении.

Коридор заканчивается рядом странных украшений. Сначала на стене возникает большой цветной рисунок, который Моне знаком, хотя где она его видела, не помнит: зеленая модель атома в луче золотого света. Перед этой оптимистической фреской выставочная витрина с чучелами разнообразных представителей местной фауны. Мелкие певчие птицы укреплены в той же позиции, что и хищные: крылья приподняты, голова выставлена вперед – так коршун заходит на добычу. Похоже, таксидермист других поз для птицы не знал. Рядом с витриной дверь, и прямо посередине створки рама картины. Рама с позолоченными завитушками, как в музее. Правда, их не мешало бы протереть от пыли. Под стеклом клочок пергамента с каллиграфически выведенным единственным словом. Слово это «Лестницы».

Мона снова оглядывается. Охранник сидит в той же позе, подавшись вперед, и, не скрываясь, следит за ней. Расслышав короткий шорох, она, даже не видя, понимает, что он снова перелистнул страницу. Тогда Мона открывает дверь и спускается по лестнице.

Внизу так темно, что глаза приспособляются не сразу. Здесь как в лесу: среди множества стволов сочится сверху слабый белый свет, пробивающийся сквозь сплетение тонких ветвей.

Нет, различает она, не лес: перед ней десятки, если не сотни каталожных шкафчиков вдоль стен. Поверх шкафчиков уложены головы, большей частью олени, запрокинутые так, что рога поднимаются колючими зарослями. Рогов такое множество, что они походят на древесные кроны, и теперь, когда глаза привыкли, Мона видит, что они не одинаковы: традиционные, на двенадцать отростков, и завитые бараньи – наверняка разных видов.

Мона пробирается лабиринтом между шкафчиками. Она ловит в воздухе новый запах, скрытый под ароматами старой бумаги и формалина, – он похож на запах подгнившей сосны. Свернув за угол, она видит впереди большой деревянный стол, который – в противоположность прочей мебели – чист, на нем всего четыре предмета; ящички с надписями «исх» и «вх» (оба пустые), маленькая настольная лампа и чайная чашка с блюдцем. Перед столом знак, так похожий на указатель лестниц, что Мона не сомневается – его изготовили те же руки. На этом надпись: «М. Бенджамин!»

Мона подходит к столу. Чай жутко вонючий: густой, мутноватый, смолистый отвар оставил темный налет на стенках чашки. Вряд ли такой подходит для пищеварительной системы человека.

– Здравствуйте, – окликает Мона.

Между шкафчиками позади стола раздается шорох.

– Здравствуйте... – В ответе слышится удивление. Потом из незаметного прохода появляется женщина. Она очень немолода – не моложе семидесяти, – но все еще огромна, больше шести футов ростом, с широкими плечами, крупными кистями рук. При этом вид у нее самый что ни на есть патриархальный: на голове пышное облако седых волос, платье изобилует пурпурной тканью в светлый горошек. На складчатой шее висит нить крупного жемчуга. Женщина часто моргает, семена из теней к столу.

– О, – восклицает она, разглядев Мону, – здравствуйте.

Она садится, протяжно крякнув. На лице вежливое недоумение.

– Я пришла по поводу дома, мэм, – начинает Мона.

– Какого дома? – Женщина надевает на нос очки.

– Э... здесь, на Ларчмонт. Мне его завещали.

– Завещали? – переспрашивает женщина. – О! И вы... в нем сейчас проживаете?

– Нет, мэм, не проживаю, но у меня все бумаги или, по крайней мере, чертова уйма бумаг, – объясняет Мона. Она достает свою папку с документами и начинает по одной передавать бумаги женщине – надо полагать, миссис Бенджамин.

Мона ожидала, что женщина примется деловито разбирать документы, как это всегда проделывают скучающие чиновники, но миссис Бенджамин просто держит в руках одну – копию завещания, – а на остальную грудку бросает беспомощный взгляд.

– О... – и она с надеждой спрашивает: – Вы уверены?

– Простите?

– Вы уверены, что унаследовали здесь дом? Должна признать, такое не часто случается. Большой частью завещатели оставляют свое имущество тем, кто здесь уже проживает.

– Я просто руководствуюсь документами, – говорит Мона. – В Техасе мне в судах дважды подтвердили, что все законно, и не хотелось бы думать, что я зря ехала в такую даль. К тому же, как я понимаю, срок завещания истекает через неделю.

– Вижу, – кивает миссис Бенджамин и наконец начинает разбирать бумажную грудку. – А вы будете миссис Брайт?

– Мисс. Да.

Мона готова предъявить документы, но ее не просят.

– Подождите. Я вас помню. Это не вы вчера приехали в красной машине? На похороны?

– А, да. Это я.

– Ах, – тянет миссис Бенджамин, – вы дали повод для сплетен, милая.

– Извините.

– Ничего, бывает, – небрежно бросает миссис Бенджамин. – Честно говоря, это немного подняло настроение.

– Можно спросить, а кто скончался?

– Мистер Веринджер. – Судя по взгляду женщины, это должно что-то значить для Моны. Не дождавшись реакции, женщина спрашивает: – Вы его не знали?

– Я только вчера вечером приехала, мэм.

– Понимаю. Что ж, он был... весьма уважаем в городе. Мы все взволнованы.

– Как он умер?

Но миссис Бенджамин уже погрузилась в бумаги, щурится на бледный неровный шрифт.

– Не припомню, чтобы здесь жили Брайты...

– Первоначальной владелицей была Лаура Альварес.

– И Альваресов тоже не помню, – отвечает женщина, интонацией намекая: а должна бы...

Что-то сообразив, она щурится на Мону. – Вы не могли бы отступить немного?

– Простите?

– Не могли бы вы сделать шаг назад. На свет. Чтобы мне вас рассмотреть.

Мона повинуется, и миссис Бенджамин вглядывается в нее сквозь маленькие стекла очков. Глаза за линзами выглядят глубоко запавшими, как будто глазницы им велики, и эти глаза ищут что-то в лице Моны – то ли знакомых черт, то ли следов порока, который расскажет ей о Моне много больше сухих бумажных листов.

– Вы вполне уверены, милая? – спрашивает наконец миссис Бенджамин. – Вы не похожи на человека, который... которому здесь место. Быть может, вам лучше вернуться домой.

– Прошу прощения? – негодует Мона.

– Понимаю, – сдержанно отзывается миссис Бенджамин. – Ну что же, уверены – значит, уверены. Бумаги у вас, видимо, в порядке. Проблем возникнуть не должно. Позвольте, я кое-что проверю.

Она встает, улыбается Моне и ковыляет за шкафы.

– Извините, если была невежлива, – доносится из-за них ее голос. – Это от неожиданности. К нам много лет никто не приезжал. Я даже не представилась... меня зовут миссис Бенджамин.

– Да, я так и поняла, – отвечает Мона. – Вы одна ведете все дела?

– Да. Дел-то немного. Большею частью я кроссворды решаю, только, пожалуйста, никому не говорите.

Она смеется. Мона догадывается, что это ее излюбленная шуточка – с бородой.

– У вас тут... гм... довольно много оленьих голов.

– А, да. На хранении, знаете ли. Когда-то висели по всему зданию. Не знаю отчего, в Винке много лет главным украшением служило что-нибудь мертвое. Теперь я в них тут немножко закопалась, но в пустые дни с ними не так одиноко.

Мона заглядывает в застывшие янтарные глаза старого оленя-самца. Никогда бы не подумала, что такие вещи могут кого-то утешить.

Скрипит, выдвигаясь, разохшийся ящик.

– Ларчмонт... я, пожалуй, даже знаю тот дом, – говорит миссис Бенджамин. – Он заброшен.

– Мне уже говорили.

– Пустует не так давно. После выезда первых жильцов владение перешло к городу. Кто-то его загреб и некоторое время сдавал одной семье.

– А записей о предыдущих владельцах у вас не осталось?

– Мои записи доходят до 1978-го, и в них дом числится пустующим, – подтверждает миссис Бенджамин. – С другой стороны, до меня здесь не было особого порядка. Так или иначе, дом скоро снова опустел.

– Почему?

– О, из-за несчастного случая.

– Там что, привидения водятся?

Из-за шкафов доносится гогочущий смешок.

– Привидения? – Мисс Бенджамин в восторге от этой идеи. – О нет, нет. В дом ударила молния. Поразила девочку, которая в тот момент купалась в ванне.

– Господи, – пугается Мона. – Она уцелела?

– Нет, – без обиняков отвечает миссис Бенджамин, показавшись из прохода между шкафами. – Ну, вот. Всего за минуту все разложено по местам. У меня есть номер слесаря. Если хотите, можете въезжать нынче же вечером.

– Так быстро? Я думала, будет больше хлопот.

– Ну, в норме, полагаю, так бы и было, все должно быть подтверждено различными службами... но, к счастью для вас, все они тут в моем лице. А я подтверждаю. Не правда ли, мило с моей стороны? – Она вытаскивает коробочку, наполненную резиновыми печатями, и с удивительным проворством начинает штемпелевать документы.

– А что молния сотворила с домом? Он в порядке?

– О, с ним все хорошо, – уверяет миссис Бенджамин. – Не то что с другими. Но с тех пор, я точно знаю, он не сдавался. Снова оказался практически заброшен.

– Извините, вы сказали, молнии попадали и в другие дома?

– Да.

– То есть... в ту же грозу?

Миссис Бенджамин поднимает глаза от бумаг.

– А, вам еще не рассказывали про ту бурю?

– Я только вечером приехала, – напоминает Мона.

– Для города это историческое событие, – начинает миссис Бенджамин с восторгом сплетницы, воскрешающей давнюю трагедию. – Много зданий сгорело. Пессимисты думали, нам уже не оправиться. Я не соглашусь, но что-то в этом было. Представьте себе, молния ударила в дерево в парке, расколола пополам. И в купол тоже, но купол, понимаете ли, есть купол, что ему делается.

– Вы про ту... круглую штуку перед зданием?

– Да, в парке. Это... – женщина задумывается, – геодезический купол. Так они представляли себе архитектуру будущего. Установили давным-давно, думаю, когда город только строился. Конечно, они оказались далеки от истины. – Миссис Бенджамин переводит дыхание. – Боже мой, я вроде как выдышала здесь весь воздух, да? А его, видит бог, и было-то немного. – Глянув на Мону, она оценивает внимание слушательницы. – Вы сильно интересуетесь историей города, милая?

Мона чуть было не отвечает: нет,нисколько. У всех маленьких городков одинаковая история. Но ведь это не какой-нибудь городок – это родина ее матери. Она неожиданно чувствует, что обязана узнать больше об этих местах, сложить в голове краски и исторический контекст, и, может быть, тогда ярче проступит и образ матери. Может быть, Мона даже разберется, зачем здесь оказалась ее мать и почему уехала.

– Знаете, кажется, очень даже, – говорит она.

– Превосходно. Непременно заходите завтра, пообедаете со мной и девочками. Отметим ваш приезд. Нет, не подумайте – не все такие старые клуши, как я. Есть и такие легкие юные создания, как вы. А в доме у меня, уверяю вас, больше порядка, чем в конторе. Мне любопытно, как вам понравится мой чай.

Мона бросает взгляд на вонючее варево в чашке. При мысли выпить такое она теряет дар речи.

– Знаете, какой секретный ингредиент я туда добавляю? – Миссис Бенджамин округляет глаза, понижает голос. Гудение кондиционера доносится громче, переходит в стон.

– Нет, – признается Мона.

– Смолу, – говорит миссис Бенджамин. – Кровь сосны. Гуляя по лесу, ее часто находишь. Кругом здоровые крепкие деревья, но вдруг замечаешь одно с рваной раной или с уродливым наплывом. Дерево немного искривлено или пожелтело. Потому что оно умирает, видите ли. Истекает кровью. Я предпочитаю натеки, смола из них белая или желтоватая, довольно вязкая. Почти как масло. Она придает чаю прекрасный вкус. Конечно, это довольно плотный материал. Что ни говори, из нее делали факелы. Приходится немного разводить древесным спиртом... иначе никак. – Женщина улыбается, и Моне видны ее зубы, мелкие и коричневые, как янтарь, как глаза оленей и козлов вокруг, и они странно блестят в подвальном полумраке. – Пожалуй, я вам сварю. Тогда остаток дня пройдет много лучше.

– Пожалуй, я не прочь, – говорит Мона, которой вдруг больше всего на свете хочется выбраться из этого странного места со шкафами и мертвечиной, пропахшего древесным спиртом и смолой.

– Ну, не буду вас задерживать, – говорит женщина. – Вам, конечно, хочется скорее увидеть дом. Бегите, и жду ваших рассказов.

– Хорошо.

Мона пятится, сжимая в руках бумаги.

– Доброго дня, – желает ей миссис Бенджамин, тихо смеется, словно понятной лишь ей шутке, и возвращается к работе, бормоча и напевая себе под нос резкими диссонансами в целую октаву.

Глава 8

Тщательная штриховка маленьких городов. Невидимые границы, зеркальные зарплаты, церковная община, моленные дома. Синие воротнички в соседях – открытые гаражи лопаются от хлама, дома прячутся в глубине зарослей, подъехать можно только по извилистой дорожке – сверху, понятно, корочка, дальше плотно сбитая нагота, пуританские домики, белые, резкие, стерильные. Стоимость автомобилей (только американского производства) резко меняется от улицы к улице. Стайки разыгравшихся детей вылетают из-за изгородей и скрываются из виду, как стаи кружащих над городом голубей. На каждом углу, с каждого двора люди машут руками всем и каждому, привет, привет, как дела, как дела...

И вот на следующем повороте, под большой склонившейся елью, домик из адобы, который Мона уже видела, только в прошлый раз он был нарисован желтоватыми оттенками и расплывчатыми тенями моментального снимка, сделанного не один десяток лет назад.

Мона останавливается перед домом матери. Ее охватывает дежавю. Довольно долго она сидит в машине и просто смотрит. Она точно знает, что здесь не бывала, но не может отогнать чувства, что она тут не впервые, как будто Эрл с Лаурой однажды завернули в этот домик на летних каникулах, когда Мона была такой маленькой, что в памяти осталось только эхо.

Она знает, что когда-то женщина в обтягивающем голубом платье встречала подруг на переднем крыльце, а потом они славно проводили вечер во дворике за домом, пили коктейли, сплетничали и под вечер, быть может, позволяли себе лишнее. Может, та женщина или кто из подружек продекларировала: «Розовые горы – пить всегда мы скоры», и расхохоталась, и невзначай нацарапала стишок на фотографии, и забыла о нем, и оставила валяться среди ненужных бумаг с работы, и уехала за сотни миль на унылые нефтяные равнины Техаса.

Все это представляется совершенно невероятным. Одно дело – узнать из бумаг и фотографий, что мать была когда-то счастливой и здоровой, и совсем другое – увидеть тот самый дом, настоящий, где она жила.

Мона ощущает себя жертвой преступления. Несправедливо, что мать когда-то была другим человеком. Нечестно, что Моне достался ее хрупкий, распадающийся призрак.

В конце концов она все же вылезает из машины – ноги подгибаются, и глаза слезятся – и садится на ступеньку крыльца, как потерявшая ключ девочка, и ждет слесаря.

За время ожидания она успевает взять себя в руки и оценить, в каком состоянии дом. Парсон был прав – в отличном состоянии. Двор не зарос сорняками, трава полита, и, если она не ошибается, дом даже заново оштукатурен.

Она спрашивает об этом подошедшего слесаря.

– Может быть, соседи, – объясняет тот. – В дом они, конечно, не входили, просто поддерживали порядок.

– Ну, очень любезно с их стороны. Вы не знаете, кто из соседей? Я бы хотела поблагодарить. Готова спорить, новый слой штукатурки недешево обошелся.

Она осматривает соседние дома. Машин не видно, и все гаражи закрыты. Только один старик, сидя в шезлонге перед крыльцом, с откровенным любопытством разглядывает ее.

Мона запоминает его адрес, отмечает, какая обувь, какие часы на руке. «Прекрати, – одергивает она себя. – Старик как старик. А вы, мисс Брайт, больше ни хрена не коп».

– О нет, – говорит слесарь. – Мы здесь просто обо всем заботимся. Или еще кто-то.

Он оглядывается на красный «Чарджер», и видно, что вспоминает похороны. Лицо его выражает некоторое беспокойство.

– Вы здесь новичок, да?

Мона кивает.

Слесарь колеблется, словно не решается что-то сказать.

- Вы ведь уже знаете, что ночью гулять нельзя?
- Мне говорили, что в горах может быть опасно... вы об этом?
- Примерно, – неловко кивает он.
- Здесь что, комендантский час?

– Нет, ничего официального. Просто такое правило. Здесь, близко к центру, может, и ничего, но далеко заходить я бы не стал. Легко потеряться. Ночью трудно увидеть, куда идешь.

Он бросает взгляд через улицу и на высокие сосны за домом – будто уже проверяет, нет ли опасности, хотя до вечера еще далеко. Он так спешит уйти, что замок меняет за полчаса и даже денег берет меньше положенного. И чуть не бегом удирает к своему грузовичку. Мона провожает его взглядом и открывает переднюю дверь дома.

Именно так Мона представляла себе стиль ранчо – или, может быть, деревенский, или стиль лесной избушки: вся отделка из натурального дерева с узловатой фактурой. Низкий просторный потолок поддерживают балки из кедра или желтой сосны, Мона их не различает. От мебели ни щепки не осталось, только в углу одиноко стоит деревянный стул и, что довольно любопытно, аквамариновый дисковый телефон с уходящим в стену проводом. Подойдя, она видит вековые наслоения пыли. Поморщившись, Мона, измазав руку серым, снимает трубку и подносит к уху. И удивляется, услышав гудок.

Она вешает трубку и обходит дом, попутно вытирая руку о шорты. В конце просторной прихожей простая деревянная лестница ведет на галерею второго этажа. На полу, где много лет простояла мебель, видны светлые пятна. Такие же светлые заплатки остались на стенах, где раньше висели картины. В комнате есть что-то от фотонегатива.

Мона проходит по коридору к гостиной и кухне в глубине дома. Кухня обставлена в современном для середины века стиле – столы как из лавки мясника, большие пузатые раковины. У духовки всего один циферблат, и Мона уверена, что, воспользуясь она громоздкой, как диван, микроволновкой, осталась бы на всю жизнь бесплодной.

«Вот это – мамина кухня», – думает она.

У Моны много лет не было настоящей кухни. Но Мона сама так решила, предпочла чистилище странницы настоящей жизни, так больно опалившей ее при последней попытке. Она не уверена, что хотела бы попробовать еще раз. Даже от мысли об этом у нее сводит живот.

Она проходит через балконную дверь и оказывается на заднем дворе. За ним, не то что за передним, совсем не следили. Дворик не травянистый, посыпан тусклым рыжим гравием, и плющ захватил какое-то деревце, удушил его и расползся по изгороди. За изгородью розовые скалы с багровыми полосами. Мона задумывается, склонив голову к плечу. Эти же скалы она видела на заднем плане фото, они за десятилетия ничуть не изменились.

Посреди двора свитая из плюща кочка. Подойдя, Мона хватается за самую большую плеть и тянет. Плеть обвивает что-то чертовски тяжелое, слышен скрежет железа по камню. Упершись ногами в кочку, Мона накручивает стебель на руку и дергает.

Отрывается порядочный кусок. Под ним ржавый кованый столик. Тот самый, за которым распивали коктейли ее мать с подругами, – вспоминает Мона.

Дежавю все сильнее. Отвернувшись, она разглядывает заднюю стену дома, такую же живописную, как фасад, хоть во дворе и беспорядок. Здесь остались даже глиняные кашпо, только теперь в них, конечно, пусто. А раньше, верно, пылала герань или топорщился лежачик. При мысли о цветах Мону пронизывает острое счастье.

Этот дом, хоть и пустой, в чем-то совершенен. О таком только и мечтать. Здесь бы растить детей, проживать жизнь. О таких домах грезят дети.

Но, оглянувшись по сторонам, на соседние дома, Мона думает, что и о них можно сказать то же самое, и о тех, что напротив, тоже. Вся эта часть города необыкновенно совершенна. Она словно вошла в старую фотографию или семейный фильм, где каждый кадр окрашен мечтами и ностальгией. Пусть даже внутри все пусто или заросло плющом.

Вернувшись в дом, Мона подводит итог. Она понятия не имеет, зачем было матери столько комнат и на какие деньги та содержала такой большой дом. Видимо, в Кобурнской, чем бы они там ни занимались, Лаура была не из мелких винтиков. Наверху комнаты поменьше, одна, когда дом снимала другая семья, наверное, служила детской. А значит, где-то здесь должна быть...

Мона открывает дверцу в конце коридора, и ее встречает небольшая ванная комната. Одна из деревянных стен намного светлее трех других. Новее, догадывается Мона, и не лакированная. У стены белая ванна, и посреди нее тонкий вытянутый росчерк черного с тонкими выростами паучьих лапок по краям, и линолеум вокруг ванны вспузырился, словно от жара духовки.

Вот сюда попала молния. Должно быть, как топором расколола стену и с визгом обрушилась на того, кто оказался в ванне. В помещении до сих пор видна копоть и обугленные пятна. Кран вообще заплыл, и металл немного оплыл, как на картинах Дали.

Мона отступает в коридор и захлопывает дверь. Когда ванная скрывается с глаз, ей легче – очень уж эти руины не вяжутся с домом. Ванна как будто от другого здания: темного, разбитого, пустого, вовсе неуместного в этой радостной пасторали.

От пронзительного звонка Мона, ахнув, подскакивает на месте. Прислонившись к стене, она переводит дыхание. Звонки между тем повторяются. Мона решает, что звонят в дверь, но это не так.

Спустившись, она подходит к аквамаринному телефону рядом с деревянным стулом, который словно простоял здесь все эти годы, и ошеломленно смотрит на трезвонящий аппарат. Наконец отвечает:

– Аллю?

Шум помех, будто звонят откуда-то издалека. Но голоса в шуме не слышно, никто ей не отвечает.

– Аллю? – повторяет Мона.

Ответа нет. Но среди помех она различает дыхание, тихое и медленное.

– Аллю, – говорит она, – я вас слышу. Вы ошиблись номером?

Она ждет, что звонящий повесит трубку, но тот или та этого не делает. Дыхание и шум помех нарастают и опадают, как звук терменвокса.

– Кто бы ни звонил, мне кажется, телефон испорчен, – говорит Мона. – Вы меня ни черта не слышите, да?

Ответа нет.

– Вешаю трубку, – сообщает она. – До свидания.

Она кладет трубку на рычаги и стоит, уставившись на телефон, словно ждет, что он снова зазвонит. Но тот молчит.

Мона не для того ехала в чертову даль и столько сил тратила, чтобы спать теперь на досках, поэтому она ищет универмаг, чтобы прикупить кое-что для нормальной жизни. Ей попадается «Мэйси», где есть все, хотя многие отделы, как и другие магазины этого городка, на первый взгляд кажутся совершенно пустыми. Мона не спешит расстраиваться: она знает, что в маленьких городках магазины не слишком соблюдают расписание – открываются, когда владельцам удобно.

Магазин не заброшен. Проходя мимо ряда одетых в платья манекенов, Мона слышит плач. Она с любопытством оборачивается, видит открытую дверь в служебное помещение и сидящих в нем женщин, закрывших лица руками. Прямо перед ними ноги в мужских ботинках, видимо, кто-то стоит перед столом или облокотился на него. Слышен негромкий мужской голос – он утешает или соболезнует. Потом ноги сдвигаются, с краю дверного проема показывается маленькая лысая голова в очках цвета бутылки из-под колы. Взглянув на нее, мужчина произносит:

– Подождите минутку.

Он быстро закругляет беседу с плачущими женщинами. Довольно нелепо выглядит такая чувствительная сцена в комнатке, больше всего похожей на чулан. Две женщины, волоча ноги и утирая глаза, выходят, а следом появляется хозяин.

Он выглядит пожилым гномом, на нем белая рубашка с красным галстуком-бабочкой и подтяжки. Устало улыбнувшись Моне, он говорит:

– Извините. Они немного расстроены.

– Что случилось? Не примите мое любопытство за грубость.

– О, ничего. Ну, не то чтобы ничего. У нас, знаете ли, недавно случилась потеря.

– О да, – кивает Мона. – Похороны. Извините, я могла бы понять.

– Да, – говорит хозяин, оглядывает Мону и улыбается. – Полагаю, вы недавно в городе.

– Верно. – Мона откашливается. – Я Мона.

– А я мистер Мэйси. – Он пожимает ей руку. – Должен сказать, меня не предупредили, что вы такая хорошенькая. Будь я помоложе... уверяю, я бы от вас не отстал. Да и сейчас мог бы, знаете ли... – Он ухмыляется. Мона не обижена: она знает таких типов, завязывающих невинный флирт с каждой женщиной, невзирая на внешность и возраст. Может быть, ему пришлось дожидаться, пока возраст позволит ему такие вольности. – Чем могу служить, мисс?...

– Зовите меня просто Мона, – просит она. – Я ищу матрас и постельное белье.

– А, новоселье, не так ли?

Он манит ее за собой по проходу. Набор товаров здесь довольно шизофренический: ряды современной бытовой техники на полках сливаются с бижутерией, дешевыми часиками и солнечными очками.

– Возможно, – продолжает разговор Мона. – Я наследница дома недалеко отсюда. Несколько ночей придется провести в нем. Собственно, я только что обращалась по этому делу к даме из суда.

– Миссис Бенджамин, – подсказывает хозяин и закатывает глаза. – Представляю, какое она произвела впечатление. Не волнуйтесь, здесь не все такие замшелые. Она вам чаю не предлагала?

– Ну...

– Не пейте! – советует он и хохочет. – От него на много часов пьянеешь, как вареная сова, и смолу с зубов неделями не отчистить. В Нью-Мексико давно свихнулись на траволечении. От простуды лечат проростками розмарина и тому подобное. Миссис Бенджамин хуже других – главное, все ее снадобья ближе к выпивке дровосеков, чем к лекарствам.

Он продает ей матрас и набор белья с пятнадцатипроцентной скидкой – акция гостеприимства, и не спорьте со мной! – и туалетные принадлежности. Он производит впечатление толкового торговца и держится с непринужденной властью. Мона уже расплачивается, когда в магазин врывается молодой человек, явно стремящийся поговорить с хозяином. Однако мистер Мэйси отвечает ему взглядом, весело и добродушно моргает, качает головой: не сейчас. Молодой человек смущенно откланивается и, заложив руки за спину, ждет за дверью.

– Могу еще чем-то помочь? – спрашивает хозяин под конец.

– Возможно. Я ищу сведения о Лауре Альварес, которая здесь жила, – это моя мать.

Мистер Мэйси задумчиво морщит лоб.

– Альварес... хм. Не знаю. Кажется, я ни о ком не слышал с таким именем.

– А вы жили здесь лет тридцать назад?

– Конечно, – заверяет он.

– Ну, она должна была здесь жить примерно в то же время. Или уехать отсюда. Она работала в лаборатории в горах.

– А, – тянет Мэйси. – Тогда понятно. Дела лаборатории – как бы сказать – были не для простых смертных, вроде меня. Никогда не знал, чем они занимаются, да и сотрудники у них часто сменялись.

– Темные дела?

Он хихикает.

– Пожалуй, что так.

– А нет ли в городе служб, куда можно обратиться за сведениями?

– Если и есть, я таких не знаю.

– Ну, если спрашиваете, я буду благодарна. Извините, что вас напрягаю, но... это же моя мать. Просто мне хотелось бы узнать о ней чуть побольше.

– Понимаю. Так вы не беспокойтесь, я постараюсь что-нибудь разузнать. Еще что-нибудь могу для вас раздобыть?

– Нет, если только вы не прячете за прилавком стейк.

– А, проголодались? Вот что я вам скажу. Отправляйтесь в «Хлою» – вы уже знаете, где это? Вот и хорошо. Отправляйтесь и скажите, что вы от меня. – Он подмигивает. – Тоже дадут гостевую скидку, так сказать.

– Этого не нужно.

– Еще как нужно. У нас здесь новички редки – вы, наверное, уже миллион раз об этом слышали. Мы должны их хорошо встречать. – Улыбка его немного блекнет. – Надеюсь, вам здесь понравится, на сколько бы вы ни остались. Большинству нравится. Хотя у нас есть свои проблемы.

– Это про вчерашние похороны?

Улыбка мистера Мэйси заметно бледнеет, взгляд становится печальным.

– О, ну... – мнется он, – надеюсь, что ничего такого. Видите ли, покойный был мне старым другом.

– А что случилось, можно спросить? Я много слышала о похоронах, но ничего о покойном.

– Его звали Норман Веринджер. Пожалуй, в Винке его любили, как никого другого. Мы с ним часами гуляли по округе, разговаривали... иногда спорили. Он был великий спорщик, наш Норман. Наверное, тем-то он мне так и нравился.

– Жаль, что он умер.

– И мне жаль. Даже теперь. Мне всегда казалось, он нас переживет. Но мы еще здесь. – Он, поджав губы, смотрит в окно. – Мне даже кажется, я сам должен этим заняться.

На это Мона не находит что сказать. Ей ли не знать, что получается, когда люди берутся подменять собой полицию. Но холодный сдержанный гнев в лице мистера Мэйси не позволяет ей задерживаться на этой теме. Она не знает города, и – может быть, из-за освещения в магазине, здесь очень сумрачно – ей мерещится что-то в глубине его глаз.

Мэйси тихо вздыхает и снова улыбается.

– Ну вот. Хотите, pošлю кого-нибудь из моих мальчиков доставить все к вам домой?

Перевозка покупок к дому представляется ей весьма утомительной, так что Мона очень охотно принимает предложение и отправляется в ресторан, где все так же оживленно, как утром.

Прежде чем войти, Мона пересчитывает машины у входа. Она сама не понимает отчего – что-то в голове подает тревожный сигнал, подсказывает держать ушки на макушке. Так что она подсчитывает легковые машины и фургоны, запоминает первые цифры или буквы номеров и только потом, успокоившись, заходит внутрь.

У Хлои оказывается светло и чисто, хорошо освещенный зал обставлен широкими закругленными стойками и уютными кабинками. Приятно пахнет беконом и оладьями, сквозь шипение масла на сковородках музыкальный автомат (он проигрывает что-то из Перри Комо)

звучит, как старинный радиоприемник. Пирог и пирожные, нарядные как свадебное платье, изящно составлены в горки на прилавке, на них играют капельки-отблески от свисающих сверху лампочек. Мона не без огорчения узнает, что ночами заведение не работает: ей кажется, здесь было бы идеальное место для бессонных сов – разогнать одиночество чашечкой кофе. Это если в Винке водятся такие совы.

У двери Мона задерживается, наблюдая, как официантки принимают заказы. Она отмечает, что ни одна из них ничего не записывает. Некоторые и не дожидаются заказов: стоит человеку зайти и занять место, тарелка картофельных оладьев с хлебцами – или залитый яйцом бифштекс, или просто чашка кофе – оказывается перед ним, а разговор сводится к радостному приветствию и вопросам о семье. Это все постоянные посетители, догадывается Мона. Здесь все всех знают и знают, что кому требуется.

Всех, кроме нее. Она уже ловит на себе недоуменные взгляды. Они безмолвно спрашивают: «Это кто такая?» А потом этот вопрос сменяется пониманием, общим: «А, девушка, прикатившая на похороны в кричащей машине...»

Мона так проголодалась, что ей все равно. Она подсаживается к стойке и просматривает меню, напечатанное на старой, залитой кофе бумаге. Недоуменные шепотки смолкают, но она еще чувствует несколько запоздалых взглядов.

Подошедшая официантка кажется смутно знакомой. Это изящное, темноволосое создание с такой тоненькой шейкой, что непонятно, как на ней держится голова. В огромных карих глазах мелькает беспокойство.

– Могу я вам помочь, мэм? – спрашивает девушка.

Мона читает имя на табличке. Грэйси.

– Да, – начинает она, – только мне велели сказать, что... я от мистера Мэйси...

– О, от Мэйси, – Грэйси улыбается, но улыбка выглядит формальной: у Моны складывается впечатление, что Мэйси из тех, кому здесь вынуждены выражать симпатию, нравится он кому или нет. – Тогда, конечно, мы о вас позаботимся. Чего бы вы хотели?

– Чем может похвастать ваш ресторан?

– Похвастать? – переспрашивает Грэйси. – Ну, мэм, о наших оладьях и кофе все говорят.

– О, прошу вас, не обращайтесь ко мне «мэм». Меня это каждый раз убивает.

Эти слова вызывают легкую улыбку.

– Хорошо.

– Думаю, мне нужно что-нибудь посушежнее оладьев, но ваш кофе я с удовольствием попробую. А что еще у вас есть?

Грэйси оглядывает Мону и, кажется, приходит к какому-то решению.

– Если вы целый день не ели, я бы посоветовала хлебцы с подливой.

– Хм... Знаете, не хочу показаться любопытной, но по-моему... по-моему, я вас сегодня видела. Это не вы показывали номер с балансом в переулке?

– Что? О!.. – Грэйси смущенно улыбается, заливаясь ярким румянцем. – Да. Да, это я была.

– По-моему, даже морских пехотинцев так не муштруют. Вы, должно быть, крутой народ. Девушка застенчиво улыбается.

– Мисс Хлоя серьезно относится к обслуживанию клиентов.

– Ну, это явно окупается. Скажите, если можно, мисс Хлое, что я возьму хлебцы с подливой и чашку кофе.

Сложив меню, Мона отдает его Грэйси, которая, несколько озадаченно улыбнувшись, уходит передать заказ. В мгновение ока другая официантка – эта ограничивается легкой улыбкой и «Прошу вас, милочка» – приносит огромную чашку исходящего паром кофе, сливки и сахар. С первого глотка Мона понимает, почему о нем все говорят: богатый, насыщенный вкус с легким оттенком шоколада так хорош, что у нее вырывается вздох наслаждения.

Несколько минут она только обводит ресторанчик взглядом, пока звон посуды и тихие приветствия не навевают теплую уютную нирвану. Все здесь целую вечность заказывают одно и то же, так же расспрашивают о делах в семье, слышат те же шуточные ответы, и это повторяется снова, и снова, и снова, и Моне это очень по душе. Она даже огорчается, когда Грэйси, подав еду, разбивает очарование.

– Что вы кладете в кофе? – спрашивает девушку Мона. – Он такой... шоколадный и вроде бы смолистый.

– Может быть, вы уловили вкус кедровых орешков. Мы их подмешиваем при помолке. В Нью-Мексико это обычный деликатес.

– Ну, чертовски не мешало бы перенять его и в других местах.

– Вы недавно в городе, да? – спрашивает Грэйси.

– Да. – Мона уже знает, что услышит дальше.

– Не примите за обиду, но я о вас уже слышала. Это вы...

– Леди на похоронах, – подсказывает Мона. – Я. Как быстро расходятся слухи.

– Ну, им здесь недалеко идти. Можно спросить, зачем вы нас посетили? У нас здесь мало приезжих.

– Ну, я бы не назвала это «посещением».

Мона в очередной раз объясняет насчет дома. Надо бы ввести это объяснение в процедуру знакомства.

– Ох, – восклицает Грэйси. – Как грустно с вашим отцом.

– На самом деле, – отвечает Мона, – для меня не грустно.

Грэйси ловко меняет тему.

– Так ваш отец здесь жил?

– Нет, мать. Давным-давно. Не думаю, что она местная уроженка, но я бы сказала, этот город стал ей родным. Не знаю. Вы случайно не знаете чего-нибудь об Альваресах? Наверное, нет, вы ведь так молоды.

Грэйси качает головой, но тут Моне приходит новая мысль.

– Скажите... вы не в курсе, где здесь архив? Я бы попробовала узнать о ней там.

– Я знаю, где он был, – отвечает Грэйси, – только он сгорел еще до моего рождения. В ту бурю в него тоже ударила молния. Отстроить так и не собрались. Теперь там просто пустырь рядом с заправкой.

– Я уже слышала про ту грозу, – говорит Мона. – Как видно, это было настоящее бедствие.

– Для нас, пожалуй. В конце квартала, на краю городского парка, есть памятник погибшим, – объясняет Грэйси. – Разбитое молнией дерево. Половина цела до сих пор. Его покрыли лаком, чтобы не гнило.

– Я хотела бы посмотреть.

– Это в ту сторону. – Грэйси указывает в окно.

Взглянув туда, Мона обнаруживает, что за ней наблюдают: в угловой кабинке сидит человек в серо-голубом костюме и панаме. Он немного напоминает коренного американца: угловатые жесткие черты лица, прямые черные волосы. Перед ним горячий ужин, но мужчина сидит, засунув руки в карманы пиджака, и не шевелится. Непохоже, чтобы его обеспокоило внимание Моны: темные до черноты глаза спокойно встречают ее взгляд.

– Вот оно как, – бормочет Мона. Поблагодарив Грэйси, она принимается за еду, хотя голод заметно ослабел.

Закончив, Мона расплачивается и покидает заведение, на ходу обернувшись в ту сторону. Коренной американец исчез, хотя тарелка на месте и еда не тронута, только пар от нее больше не идет. На улице Мона смотрит в обе стороны, но его не видно.

Мона снова пересчитывает автомобили. Все стоят по-прежнему. Она гадает, наблюдатель ли вызывал в ней чувство тревоги или что другое.

Она проходит по улице до парка с огромным белым геодезическим шаром. Мемориал Мона находит перед зданием суда. Это высокий выщербленный зубец темного поблескивающего ствола, криво торчащий из пышной зеленой травы футов на тридцать в высоту. Мона видит темный мазок, изогнувшийся от вершины по старой коре. Все это напоминает произведение современного искусства.

Подойдя, она читает табличку внизу.

МЕМОРИАЛ
С ЛЮБОВЬЮ В ПАМЯТЬ ТЕХ, КТО БЫЛ ОТНЯТ У НАС
17 ИЮЛЯ 1983 ГОДА
МЫ СОХРАНИМ ЭТО ДЕРЕВО КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО НАШЕЙ
ПОТЕРИ

Моне не нравится мысль превратить дерево в памятник. Оно будит не самые приятные воспоминания. Неужели им не хотелось чего-нибудь более воодушевляющего, дающего надежду? И...

Она замирает. Задумывается. Перечитывает надпись.

Семнадцатое июля. Тысяча девятьсот восемьдесят третьего... дата ей знакома. Конечно, знакома. Как она могла забыть.

– Господи, – вслух выговаривает она. – О господи. В тот день умерла мама.

Глава 9

Каждый вечер часов около девяти Джозефа Грэдлинга донимает зуд, и этот вечер – не исключение. Естественно, шестнадцатилетний Джозеф вроде как в курсе, что такой зуд – обычное проклятие его возрастной группы; чуть не каждый мальчишка в Винке им так или иначе страдает, хотя проявляется он в разное время, и справляются с ним каждый по-своему. К примеру, он слышал о болановском «Придорожном» за окраиной города: туда выбираются промотать деньги самые предприимчивые из парней, и описывают они происходящее по-разному: кто как блаженство, кто как мерзость. Для менее дерзких кое-где в городе продаются сомнительные журнальчики, которые среди городских школьников ценятся не меньше сигарет в тюрьме. Их поглощают с восторженным недоверием крестьян Старого Света, читающих о чужеземных странах.

Но Джозеф уверен, что его способ – лучший в городе: Грэйси Зуэла, которая неизвестно почему питает к нему добрые чувства или даже симпатию. Это обстоятельство дошло до него далеко не сразу, он долго не мог поверить. Но однажды он с дрожащими руками и сердечным трепетом, запинаясь, открыл ей свои чувства (неловко вышло, что он все повторял, какая она «милая», потому что «такая милая») и до сих пор не понимает, как это вышло, что она улыбнулась, привстала на цыпочки и шепнула ему на ухо время и место.

В первый раз они встретились в лесу у нее за домом. С тех пор были еще свидания. И с каждым разом Джозеф обнаруживал, что на Грэйси у него зуд посильнее того, что впервые заставил искать облегчения. В их ночных свиданиях есть что-то чудесно мимолетное, заставляющее его возвращаться снова и снова. Что это, он точно не знает. Но, хоть против зуда и нашлось средство, он теперь донимает больше прежнего, только Джозеф совершенно не против.

В этот вечер Джозеф ждет на обычном месте в лесу, оберегая купленную на заправке бутылку шампанского и жутко мощную эрекцию. Он прихватил две бутылки, одну с клубничным вкусом, как ей нравится, а со своей уже на треть управился и потому находится в некоторой растерянности. Ему странно, как волнуются деревья – будто стадо оленей, учуявшее волка. И луна его озадачивает. Розоватый оттенок сегодня ярче обычного.

В такие минуты Джозеф гонит из головы мысль, отчего у него не нашлось соперников в борьбе за привязанность Грэйси Зуэлы: ее дом стоит на самом краю одной из зон «Хода нет», как обозначили их родители Джозефа. В этих местах и днем никто не показывается. Зона охватила лес на северо-западном краю города, у самой столовой горы, и, по слухам, она из худших, хотя всех зон никто не знает, а если знают, так не говорят. Да и кто стал бы их искать? О таком и помыслить невозможно.

Но Джозеф знает, что у родителей Грэйси есть уговор, так что здесь вполне безопасно. Пусть другие боятся, а ему известно, что можно войти спокойно. По крайней мере без особого беспокойства. Никто не свободен от тревоги, выходя ночью за пределы Винка. Всем известно, что лучше бы остаться дома. Но Джозеф смотрит на часы и делает еще глоток шампанского.

Наконец за спиной слышатся тихие шаги.

– Пришел, – произносит негромкий голос.

Обернувшись, он видит Грэйси. Она всегда ступает тихо, но в последнее время все тише и тише. Днем, соображает Джозеф, он бы вовсе не услышал ее шагов.

– Ясно, пришел. – Он протягивает ей бутылку клубничного шампанского, но девушка качает головой.

– Нет.

– Точно?

– Точно.

Грэйси легкая, худенькая, руки как спички, спина сутуловатая, но сразу видно, что со временем девушка станет красавицей. В ее глубоких темных глазах тихая грусть, словно ее мучает фантомная боль, с которой ничего не поделаешь. Грэйси стоит на сухой хвое, ссутулив плечи и отвернувшись всем телом. Она скрестила руки на груди, и сердце у Джозефа начинает частить при виде ее пальцев, обхвативших бицепс; все в Грэйси тонко и деликатно, и почему-то при виде ее рук и шеи внутри у него разворачивает крылышки что-то хрупкое и дрожащее, взлетает бабочкой.

– Нормально проскочила? – спрашивает он, делая шаг к ней.

– Проскочила?

– Ага? Не заметили?

Она с любопытством смотрит на него.

– Джозеф, мои родители знают, что я вышла. Ты что, забыл, что нынче за ночь?

При этих словах у него холодеет кровь. Джозеф обводит взглядом деревья, скалы и необычно окрашенную луну и понимает, что сделал ужасную ошибку.

– Не может быть, – бормочет он. – Опять? Не так же скоро?

– Месяц прошел, – говорит она.

– Незаметно.

– Да, – признает она, – незаметно.

Она протягивает к нему руку, и Джозеф, стыдясь самого себя, медлит. Он скрывает робость, перекладывая бутылки, а когда все же берет ее руку, та холодна как лед.

– Прости, – говорит он. – Если хочешь, я уйду.

– Не уходи, – просит она. – Со мной тебе нельзя. Разве что до края леса. Но мне не хочется, чтобы ты уходил.

Они идут по лесу рука об руку под грейпфрутовой луной. Впереди и выше деревья расступаются, начинается скалистая стена горы. В лунном свете утесы выглядят белыми или серыми, целые мили прекрасной пустыни. Под солнцем они станут розовыми и багровыми как кровь, но сейчас, под ясным небом, похожи на костяные.

– Плохо, что я здесь? – спрашивает он.

– Это... может быть, – отзывается она. – Не знаю. Сейчас все иначе. Все взбудоражены.

– Чем? Ты потому и ушла из ресторана раньше времени?

Грэйси сейчас – ученица в «Хлое», где в обычное время не спустили бы прогула. У нее должно быть какое-то серьезное оправдание.

– Да. Отчасти. – Девушка замолкает, кусает губы.

– Это из-за того... чего оно хочет?

– Он, Джозеф. Мы об этом уже говорили.

– Или из-за того, что он говорит, будто хочет, – угрюмо поправляется Джозеф. Он уже жалеет, что пришел. В другие ночи Грэйси свободна, свежа и прекрасна; он вспоминает, как обнимал ее, как черные волосы блестели на ковре из хвои, как она смеялась, дыша ему под подбородок. Но в эту ночь она – робкое пугливое существо, и все, что с ней было, ее огорчает.

– Из-за мистера Веринджера, – говорит она.

– Ага, я так и понял. Все всполошились, – кивает Джозеф. – Вот уж не подумал бы, что такое могло случиться. Ты была на похоронах?

Грэйси кивает.

– Не только в этом дело. Они, Джозеф, не думают, что он просто умер... они думают, его убили.

Джозеф потрясен. Он чуть не прирос к месту. Мысль о том, что мистера Веринджера могли убить, еще невероятнее, чем о его смерти.

– Кто тебе сказал?

Она кивает на белый с серым каньон:

– Мистер Первый, конечно.

Он мрачнеет.

– По-моему, ты только раз в месяц видишь мистера Первого?

– Сама к нему хожу – да, но иногда он ко мне приходит.

– И он побывал у тебя вчера ночью?

Грэйси неохотно кивает.

– В твоей спальне? – спрашивает Джозеф.

Она молчит.

– Он побывал у тебя в спальне, Грэйси?

– Да, – довольно резко отвечает она. – Тебе это действительно интересно?

– Нет, – говорит он.

– Интересно. Мы только об этом и говорим. Мне эти разговоры надоели до тошноты.

Нельзя ли поговорить о чем-нибудь другом?

– Просто... мне не нравится, что ты от меня таишься.

– Но ты же знал, что буду. С самого начала я тебе сказала, что так будет.

Джозеф не находит ответа. Правда, она его предупреждала. Он тогда отшутился, счел, что это невеликая цена за то, что ему светило. Но с каждой встречей это давило все тяжелее, и каждый разговор ходил кругами, не касаясь главного.

Может, беда в том, что он стал старше и уже понимает, что так же ведет себя весь город – осторожно обходит множество пугающих, необсуждаемых истин, – и это его печалит и смущает, хотя Джозеф не умеет того высказать.

– Я расскажу, – говорит Грэйси. – Это можно. Я лежала в постели. Уже засыпала. Уже услышала его. Он, когда подходит, звучит как флейта. Дверь с моего балкона открылась, он вошел, сел в углу и заговорил со мной. Мы просто поговорили, Джозеф. Он очень встревожен.

Джозеф, конечно, уже понял, что Грэйси была права; не надо бы ему этого знать. Ему хочется выдернуть у нее руку, может, даже оттолкнуть девушку. Но в то же время хочется прижать ее к себе и обнять. Зря он заставил ее рассказывать. Зря заставил поделиться. Джозеф делает еще глоток из бутылки.

– Весь город взволнован, – продолжает Грэйси. – Ты что, сам не чувствуешь? Даже ты мог бы заметить. Все застыло, похолодело... никто не понимает, что происходит, хоть и не признаются. Никто никому ничего не говорит.

– Но тебе мистер Первый сказал.

– Да.

– И это всегда так с его визитами? Он с тобой только говорит?

– Бывает, что лишь смотрит. Но чаще всего, да, мы разговариваем.

– О чем?

Она долго молчит.

– Этого я тебе не выдам, Джозеф. Я тебе многое отдала, но этого не отдам.

– Почему?

– Потому что это не мое.

– А что твое? – спрашивает он, удерживая ее на месте.

– Господи, – вздыхает она, – зачем только я встретила с тобой здесь. Ты все злее и злее. – Выдернув руку, она, не дожидаясь Джозефа, направляется к краю леса.

Джозеф смотрит ей вслед, потом догоняет бегом.

– Ты все бледнее. С каждым месяцем. Это он с тобой делает, да?

Она останавливается спиной к нему. Он видит, что ранил ее этими словами, и рад бы взять их назад. Но в то же время чувствует, что вправе сердиться. Она заслужила боль, так же, как он.

– Есть вещи, которых нам просто не надо знать, Джозеф, – говорит она дрожащим голосом. – Ни мне, ни тебе, никому. Просто смирись с этим, хорошо?

Джозеф тяжело сглатывает. Быть может, от шампанского, ему становится вдруг очень не по себе, во рту и в горле стоит едкая сладость. Мир расплывается, и он понимает, что это от слез.

Грэйси, к его стыду, видит эти слезы.

– Ну-ну, – говорит она, – иди ко мне.

Она притягивает его к себе. Они молча обнимаются на краю леса. Дальше начинается маленький, на удивление голый каньон. На севере загораживает облака темный массив столовой горы.

– Лучше бы ты больше сюда не приходил, – говорит она. – Плакать будешь.

– Хуже будет, если не приду.

– Я поначалу думала, это шутка. Игра, не больше.

Она опять обходит главное.

– Поначалу да. Теперь не так.

– Знаю. Так хуже.

Тонкая ладонь шарит по поясу его брюк, находит пуговицу. Пальцы ловко справляются с ней – за прошедшие недели она научилась.

Джозеф чуть отстраняется.

– Я не хочу.

– А я хочу. – Она смотрит на него. – Позволь хоть это тебе дать, ладно?

Она возится со следующей пуговицей, и тут Джозефа наполняет отвращение к себе и ярость. Он два месяца встречается с ней в этом лесу, и, хоть ему и известно, что он удачливее многих одноклассников, секса до сих пор не было. Она даже его пальца в себя не допустила. Эта последняя, самая драгоценная привилегия принадлежит тому, что ожидает в каньоне, и Джозеф это ненавидит и себя ненавидит за то, что его снова и снова тянет сюда.

Она замирает, когда среди деревьев звонко раздается:

– Грэйси?

Оба подскакивают. Джозеф разворачивается как ужаленный и с замершим сердцем узнает стоящего на краю прогалины: мистер Мэйси из универмага. Он не похож на обычного милягу: замер как каменный, и белая рубашка мерцает в розоватых лучах луны. Холодное, непроницаемое лицо, глаза скрыты очками. Он явно очень недоволен.

– Ага, – произносит он, – это ведь... Джозеф, не так ли?

Джозефу вдруг становится дурно. Меньше всего на свете ему хотелось бы, чтобы их застал мистер Мэйси.

– Тебе нельзя здесь бывать, Джозеф, – очень мягко и спокойно говорит Мэйси, и, хотя он очень далеко, его слова гулко разносятся по поляне. – То, что здесь происходит, тебя не касается. Ты вмешался не в свое дело.

– Я... не вмешиваюсь в ее дела, – возражает Джозеф, хотя голос выдает, как он перепуган.

Мистер Мэйси не отвечает, только смотрит на парня. Он совсем не такой, как днем: как будто в его тело нарядилось нечто далекое и непознаваемое.

– Вам тоже не положено сюда приходить, – гораздо более решительно, чем Джозеф, заговаривает Грэйси. – Вы тоже вмешиваетесь.

Мистер Мэйси медленно поворачивает к ней голову. Выражение лица не меняется. Потом, быстро перейдя прогалину, он останавливается рядом с ними и вглядывается в устье маленького каньона внизу.

– Он не спит?

– Не ваше дело, – отвечает Грэйси.

– Скоро проснется, верно? Как-никак, сегодня ваша ночь.

– Откуда вы знаете?

– Веринджер рассказал мне о вашем договоре.

– Наш договор вас не касается. Как и Веринджера.

Он поворачивается к девушке. Долго изучает ее лицо.

– Ты знаешь, что произошло?

– Знаю, что Веринджер умер, но умирают все.

– Ты знаешь больше.

Грэйси не отвечает, но заметно нервничает.

– Ты знаешь, что он убит, – говорит Мэйси.

– Я этого не говорила.

– Но знаешь. Я вижу, что знаешь. Откуда? Это только недавно вычислили. Или он тебе сказал? Но мы ему еще не говорили. – Мэйси, не поворачивая головы, стреляет глазами в сторону каньона. При этом он делается так похож на ящерицу, что Джозефу тошно смотреть. Ему совершенно не нравится здесь быть, присутствовать при частном споре могущественной элиты Винка. – Итак, он узнал раньше нас.

– Он тут ни при чем, – нервно бросает Грэйси.

Мистер Мэйси не отвечает.

– Вы же знаете, он видит вещи по-своему, – добавляет она.

– Да, – соглашается Мэйси. – Потому я и решил с ним поговорить. Известно ли ему о приездах? О той женщине в красной машине.

– Не знаю.

– Она связана с тем, что случилось?

– Сказала же, не знаю!

Он снова косится на каньон, повторяет:

– Он не спит?

Грэйси прикусывает губу, но уступает:

– Проснется. Скоро.

– Как скоро?

Откуда-то из глубины каньона слышится тихий атональный свист, похожий на звук флейты. Мелодии в нем нет – будто кто-то наугад перебирает лады или играет безумец.

– А, – произносит Мэйси, – я пойду к нему.

– Вас не приглашали, – говорит Грэйси.

– Обстоятельства чрезвычайные.

– Но вас не приглашали. Есть правила. Это мой уговор. Исключений не бывает. Разве не так говорил мистер Веринджер?

Мэйси медлит, хмурит брови. Джозефу видно, как он силится придумать обход так долго царивших в Винке правил.

И тут Мэйси осеняет. Он смотрит на Джозефа, что-то мелькает в глубине его глаз, и мужчина начинает тихой монотонной скороговоркой:

– Джозеф Грэдлинг, родился четырнадцатого марта тысяча девятьсот девяносто седьмого. Родители: Эйлин и Марк. Епископальная церковь. Хорошо учишься по математике. Плохо учишься по английскому. Иногда ночами ты садишься на кровати и смотришь в окно, хотя знаешь, что нельзя. Иногда, засыпая потом, ты видишь во сне черную башню на зеленом поле и голубой огонь наверху башни. У этого огня кто-то стоит. Но ты не знаешь кто и не можешь рассмотреть.

– Хватит, – говорит Грэйси.

– Тебе не нравится здесь, в Винке. Ты нахальный, самоуверенный. Любишь поговорить, задавать вопросы. Тебе мало заниматься своими делами. Ты любишь нарушать границы, делать, чего нельзя, зная, что нельзя.

– Перестаньте! – говорит Грэйси.

– Я знаю тебя, Джозеф Грэдлинг. Когда ты сегодня вылезал в окно, тебе пришлось приподнять бедро, совсем немного, потому что, когда ты лег животом на подоконник, почувствовал, что пенис вздергивается, переполнившись кровью, непомерно, удивительно крепчает, и ты испугался, что защемишь его между пряжкой пояса и животом...

– Перестаньте!

– ...и тебе этого хотелось, хотелось быть «на редкость в форме», Джозеф, не так ли ты думал, когда шел через лес сюда, сюда, где тебе нечего делать, и хотя ты пришел сюда ради нее, и ее тонких рук и здорового мускусного запаха, ты шел и потому, что любишь узнавать, что не следует, и нарушать все правила, не так ли, Джозеф, Джозеф Грэдлинг?...

– Хорошо, – вскрикивает Грэйси, – хватит! Я вас отведу! Только оставьте его в покое.

Мистер Мэйси мгновенно обрывает скороговорку. Не сразу оторвав взгляд от Джозефа, он поворачивается к Грэйси.

– Так ты меня приглашаешь?

– Приглашаю, – с горечью соглашается она.

– Хорошо.

Несмотря на согласие Мэйси, Джозеф дрожит, он до бледности перепуган своими самыми потаенными, странными мыслями, выплеснутыми этой безумной скороговоркой. Грэйси с тревогой смотрит на него. Но Мэйси не позволяет ей утешить парня.

– Нечего терять время. Я должен его увидеть.

– Хорошо, – вздыхает она. – Идите за мной.

Бросив последний взгляд на Джозефа, она уводит Мэйси за линию деревьев и вниз по каньону. Она выглядит такой маленькой и одинокой; когда они попадают в лунный луч, она кажется еще бледнее прежнего, так что волосы и кожа словно подсвечены изнутри. Потом они сворачивают за выступ скалы и исчезают.

Джозеф без движения стоит на краю леса. Он смотрит на столовую гору, на каньон, а чувствует себя словно на краю бушующего, белого от пены моря, в которое только что прыгнула Грэйси. Больше всего на свете он хотел бы броситься за ней, но сознает, что это было бы страшной ошибкой для них обоих. Есть вещи, которых в Винке делать не следует, и одна из них – вмешательство в уговор.

Джозеф не возвращается к дороге, а идет краем леса. Он не знает зачем – просто лес позволяет чуть дольше предаться тоске. Он опять слышит тихий звук флейты из каньона. Мальчик замирает: с места, куда он вышел, ему видно, что происходит внизу.

Он даже себе не признался бы, что затем и задержался: хотел видеть, *должен* был увидеть. И может быть, если он скажет, что все произошло случайно, или взглянет только краешком глаза, его простят, если поймут.

Он стоит, не поворачивая головы, напрягаясь, чтобы видеть происходящее уголком глаза. Ему виден белый оскал утесов и гладкая белая полоска – русло каньона. На дне его движение, хотя рассмотреть трудно: видны две маленькие фигурки, почти теряющиеся в тени скал и глядящие вниз. Но на что они смотрят, Джозефу не видно.

Что-то обрушивается в каньон. Виден удар о дно, облачко песка и пыли. Но самого падения Джозеф не замечает – видно только, куда пришелся удар о землю. А вот еще что-то падает, уже ближе к людям, но опять мимо. Ему становится вдруг очень страшно за людей в каньоне, потому что валится что-то очень большое.

Что-то еще дважды ударяется о землю, ближе и ближе, но ни разу Джозеф не видит в воздухе ни камней, ни чего другого. Как будто сама земля раздается, но только в избранных местах на прямой, ведущей к людям. Джозеф не понимает, что могло вызвать такое явление.

Снова эхом отдается звук флейты. Потом между подошвами одной из фигурок и землей просвечивает лунный свет, она поднимается дюйм за дюймом, и потрясенный Джозеф понимает, что видит левитацию, парение в нескольких футах над землей.

Или, думает он, человека кто-то поднял?

И тут ему приходит в голову, не были ли облачка пыли, которые он видел в каньоне, шагами, тяжелыми шагами невидимки, который теперь поднимает человека над долиной медленным ласковым движением, быть может, чтобы приложить к щеке и покачать на руках, между тем как второй стоящий в каньоне смотрит, подбоченившись, с неодобрением на столь откровенное проявление любви.

Джозеф падает на колени, его рвет, но он все же удерживает в голове две мысли: первая, что нельзя издать ни звука, если тот в каньоне заметит, последствия будут невообразимо ужасны, и вторая, что если он угадал верно и там были шаги, шагавший так велик, что заполнил собой весь каньон.

Потом он понимает, что бежит, несется между соснами, спотыкается о кусты. Наконец он переваливается через дорожное ограждение и валится на обочину. Здесь он садится, обхватив колени, и плачет.

Ну, здравствуйте, соседи

Глава 10

Мона находилась по склонам, добрый час лазала вверх и вниз по жутким косогорам, но пот ее так и не пробрал. Это здешний утренний воздух – прохладный, но не знобкий. Он словно пробирается в каждую складочку тела, будит и напоминает, что ты жива. Она выходит на холм и смотрит в лощину – там дорога петлей огибает бунгало из адобы, у которого вальсирует с ветром ясень. Мона все думает об этом мире.

Жизнь – вот что здесь во всем ощущается. Как будто она отменно выпалась, хотя не скажешь, что ночь в этом огромном пустом доме прошла спокойно.

Мона не узнала ничего нового о матери: люди с готовностью пытаются помочь, но ничего не могут – и поэтому с утра она переключилась на сам городок. Такой маленький городок вскоре должен бы кончиться, но все не кончается: каждый раз она выходит на новый изгиб дороги, перевалив через холм, находит новый холм, обойдя огромное дерево, обнаруживает незнакомую тропинку. Город уходит все дальше и дальше, углубляется сам в себя. Впечатление разваливается, словно Винк – не единое поселение, а состоит из множества малых, вроде пузырьков, доступных лишь из одной точки каждый.

Она смотрит вперед и видит пригорок, полускрытый полевыми цветами. Удивительная неравномерность – цветы ограничились солнечной стороной, так что пригорку словно выбрали полголовы. Цветы растут столь густо, такие яркие, что Моне сразу вспоминается, как в детстве она любила скатываться со склона среди цветов и желтые лепестки мелькали во вращающемся синем небе.

Поскольку Мона уже не маленькая, она предпочитает пройти ногами, перевалить холмик и посмотреть, что с него видно. По дальнему склону журчит ручеек, он прорезал в зелени маленький зеленый шрам. Ручей здесь немножко не на месте – с другого склона Мона не видела ни следа воды, – но из любопытства она спускается по его извилистому руслу в лес.

Она и дальше идет вдоль ручья, подныривая под ветвями, которые нельзя отвести, и вдруг впереди дрожит солнечный луч...

Присмотревшись, Мона ахает. Она вышла на кромку скалы, обрывающейся на пятьдесят футов в долину. Головокружение забивает все чувства, подсказывает: стоит сделать шаг, и рухнешь вниз...

– Мериэнн, милочка, я же сказала, что сегодня хочу побыть одна, – лениво тянет голос рядом.

Мона отрывает взгляд от обрыва и смотрит вправо. Всего в каких-нибудь двадцати футах от нее, посреди травянистой полянки, затененной высокой елью, загорает в шезлонге женщина. Рядом второй, свободный шезлонг и маленький запотевший алюминиевый шейкер на столике.

Расслабившись, Мона отступает от края и направляется туда. Высокая худощавая женщина одета в очень короткие белые шорты и голубой топик, на лице очки «кошачий глаз» со стразами. Коленами она придерживает полупустой бокал для мартини.

– Извините? – говорит Мона.

Женщина пальцем оттягивает вниз одно стекло очков. Из-за него выглядывает лазурный глаз.

– Это не Мериэнн?

– Нет, – признается Мона.

– Вы кто? Я вас не знаю. Пойдите. Погодите, вы же...

– Да, – кивает Мона, – я. Не хотела вас беспокоить, меня ручей сюда привел.

– А. Ну, вы наткнулись на мое тайное убежище. Присаживайтесь. Так вы новая жительница нашего городка. Уже приобрели известность. Не скажу, что это плохо. Как вас зовут?

– Мона.

– Мона. Хорошее имя. Нынче его не часто услышишь. Пожалуй, людям оно кажется слишком... мрачным. – Женщина облизывает губы. У Моны сложилось впечатление, что мартини у нее между коленями – не первый. – Мона. Одиночка. Понимаете?

– Понимаю.

Женщина садится прямо. Она определенно в возрасте – загар на запястьях и тыльных сторонах ладоней неровный от старческих пятен, и стекла очков не скрывают морщинок у глаз.

– А я Кармен, Мона. Приятно познакомиться. Как вам это чудесное утро?

– Неплохо, пожалуй.

– Догадываюсь, что никто еще не устроил для вас приема.

– Приема?

– Ну конечно! В честь вашего приезда.

– Ну... не хочу никого хулить, но... в общем, да.

– Вы никого и не хулите. – Женщина со вздохом откидывается назад. – Ничего удивительного.

– По-моему, из-за похорон не до того было.

– Да, видимо, и это тоже. Но больше потому, что мы здесь, хотя и любим повеселиться, не выставляем этого напоказ. Потому и... хм. – Она с хлюпаньем допивает мартини и обводит рукой деревья на краю поляны. – Что же вы не садитесь?

– Не хотела бы мешать.

– А вы и не мешаете. Все по-соседски.

– Но, кажется, вы сказали, что хотели побыть одна.

– А это я приняла вас за дочку. Я ей помогаю с детьми – она замужем, и у нее, видите ли, свои дети, – но настаиваю, что мне нужно время и для себя. В смысле, могут они час-другой сами прибираться за собой дерьмо?

– Наверное?

– Конечно, могут. А Гектор – это мой муж – тоже мог бы иногда приложить руку. Им на пользу справляться самим. Не утонешь, так поплывешь, знаете? Так что садитесь. На вас посмотреть, вы себя замучили до полусмерти. Вот... – Кармен извлекает из-под шезлонга бокал и наливает в него что-то прохладное и прозрачное. – Чтоб вы знали, я не часто этим занимаюсь. То есть с утра валяюсь в лесочке с выпивкой. Жизнь не позволяет. Хотя, будь такая возможность, так бы и делала. Не знаю лучшего способа провести утро.

Она вручает Моне бокал.

– Э... я не любительница джина.

– Этот полюбите, ручаюсь.

Мона из вежливости смачивает губы. Но напиток прохладный, с горчинкой, и освежает, как капли холодного дождя в знойный день.

– Ух! – восхищается Мона.

– Я же говорила, – кивает Кармен. – Откуда вы, Мона?

– Из Техаса.

– Откуда в Техасе?

– Да отовсюду.

– Отовсюду? Техас большой.

– У меня, как бы сказать, не было постоянного адреса.

– Понятно, – говорит Кармен. – Так что же привело вас в Винк?

Мона заученно объясняет.

– Боже мой! – Кажется, Кармен искренне прониклась ее историей. – Похоже, вам досталось.

– Можно сказать и так.

– Ну, не хотите ли проваляться все утро со мной? Похоже, вы заслужили отдых.

– О, я никак не...

– А я готова поручиться, что как. У вас есть на сегодня дела?

Дела у Моны есть. Она собиралась расспросить мистера Парсона о Кобурне и попробовать добиться от него толку. Но она отвечает:

– Пожалуй, ничего такого, что нельзя отложить.

– Вот и умница. Расслабьтесь. Нам так редко удается расслабиться. Пользуйтесь случаем. Мона ложится. Она плохо умеет расслабляться, но здесь это дается легко: нависшие ветки умеряют солнечный жар, а голосок недалекого ручья смыкает тревоги.

– Ну, как вам пока, Мона? – интересуется Кармен, с тихим хлопаньем засасывая выпивку.

– Думаю, я могла бы привыкнуть к этому зелью.

– Верю, – смеется Кармен, – но я подразумевала Винк.

– А. Ну, он... чертовски милый.

– Да, правда ведь? Мы, наверное, к нему слишком привыкли. Акклиматизировались. Принимаем как должное. А потом выпадет вот такое утро, и вспоминаешь.

– Ночью... другое чувство.

Кармен ограничивается коротким «хм».

– Нью-Мексико – чертовски красивый штат. Жаль, что я не бывала здесь раньше.

– Знаете, я здесь всю жизнь прожила и не могу представить мест приятнее. Ну, не буду врать, что *искать* их не стоит. Вроде вот этого местечка. Иногда стоит потрудиться ради минутки покоя. Но покой есть. Знаю, о чем вы думаете: думаете, что эта домохозяйка понимает в *работе*.

– Вообще-то я ничего такого не думала, мэм, – возражает Мона.

– Да ну? Простите за прямоту, вы не похожи на семейную женщину.

– Я раз попробовала.

– Не сложилось?

– Что-то в этом роде.

– Ах... – Кармен обращает черные стекла очков к небу. – Ну, если кто вздумает вас этим корить, посылайте их подальше от моего имени. Кто не пробовал, пусть не говорит.

Мона выдавливает благодарную улыбку.

– А здесь часть вашего участка?

– Вроде как, – кивает Кармен. – Наш дом в городе, ближе к центру. Это на самом деле просто моя земля. Выпросила у Гектора. Чтобы было место позагорать на солнышке – хотя иной раз и тени хочется, – и он пошел и все уладил. У нас так принято. Вы, верно, скажете, рука руку моет. Да вы наверняка сами разберетесь, если задержитесь подольше.

Мона обводит лощину взглядом. Может, из-за джина, но тут трудно о чем-то тревожиться. Здесь она чувствует себя вроде как в коконе, словно деревья напрочь отрезали и эту лощину, и потрясающий вид из нее от Винка.

– Вы здесь побудете? – спрашивает Кармен.

– Простите?

– В Винке. Дом вы, говорите, получили, но думаете ли остаться?

– Не знаю, – признается Мона. – Может быть. Думаю, рынок недвижимости здесь не слишком оживленный, если бы я решила продать дом.

Кармен с хрипловатым смешком допивает мартини.

– Не загадывайте, дорогуша.

– Я не могу не спросить – вы случайно не знали мою мать?

– Извините, милочка. Не знала. А если знала, так забыла, тоже могло случиться. Память у меня уже не та. Но если вам что понадобится – совет или выпивка, – всегда меня найдете. А если нет, я сама найдусь.

– Очень благодарна.

– Ну, вы, похоже, много чего повидали. Я уже говорила, здесь покоя в избытке, если вам нужен покой. Надеюсь, и вам немного перепадет.

Допивая мартини, Мона размышляет над ее словами. Тем временем Кармен всхрапывает, через секунду еще раз и вот уже храпит вовсю. Приподнявшись, Мона заглядывает в шейкер и не удивляется, обнаружив, что он пуст.

Встав, она возвращается вдоль ручья на улицу и по ней выходит к зеленому поясу, где, визжа и хихикая, носятся три девочки – играют в прятки, – а оттуда поворачивает к дому, размышляя о покое.

До сих пор она в Винке ни разу не спала спокойно. Пытается уснуть и теперь, но сон не идет. Ее часто будят стоны пустых коридоров. Из окна на бесцветный дощатый пол падают странные блики, порой в воздухе возникает горячий электрический запах, как будто здесь разом работает множество принтеров и копировальных автоматов.

Мона считает себя практичной, ей известно, как могут заморочить голову совпадения, если слишком в них вдаваться, и она убеждает себя, что общая дата – самоубийства матери и здешней грозы – тоже совпадение. Трагедии случаются что ни день, не удивительно, если две совпали. И все же, как вспомнит этот черный лакированный осколок ствола, ей становится тревожно.

Когда сон наконец приходит, это надежное блаженство, черный провал без сновидений, после которого пробуждаешься вся в розовых морщинках от простыней. Но в какой-то момент в сон пробиваются голоса.

– ...и приехала, говорит, как раз в тот вечер, – произносит один голос. Он, пожалуй, принадлежит старухе и звучит совсем рядом.

– Правильно говорит, я видел, – отвечает другой. Этот мужской, твердый и низкий. – Она ко мне первому пришла.

– К тебе? Так это твоя работа?

– Ее приезд – чистое совпадение. Я ни при чем. Понятия не имел, что она едет.

Мона не открывает глаз. Она уверена, что видит сон, но и во сне не хочет открывать глаза, потому что вдруг они и по-настоящему откроются, разбудят и прогонят сон. И вот она лежит на матрасе лицом в простыни и крепко жмурится, прислушиваясь к голосам.

– Думаешь, все это совпадение? – говорит старушечий голос. – Должна сказать, мне хочется в это поверить. Тогда мы можем успокоиться.

– Такое важное дело... и не хотел бы, но думаю иначе.

– Чем, по-твоему, важен ее приезд?

– Она приехала сразу после смерти. Новое лицо, когда пропало старое. Слишком скоро, вот что меня беспокоит.

– Ах, – тянет старуха, – так ты думаешь...

– Именно. Она здесь не случайно. Ее привели сюда. Кто-то привел, не знаю еще кто.

Мона представления не имеет, о чем речь, но понемногу сознает, что воздух, касающийся ее загривка, вовсе не похож на кондиционированную домашнюю прохладу. Слишком уж холодный и сухой. Как ветер пустыни, никогда не знавшей влаги. А эти голоса она вроде бы уже слышала...

Она чуть приподнимает голову. Смотреть и не думать; она все еще уверена, что это сон. Только приоткроет веки и, может, что-нибудь разглядит в щелочку.

Веки приоткрываются, и ей в самом деле видно.

Мона лежит на своем матрасе, но не в доме: под матрасом черный камень, похожий на вулканический базальт, растрескавшийся почти правильными шестиугольниками. На черный камень откуда-то падают красные отблески, и, приподняв голову еще немного, Мона видит знакомую красновато-розовую луну, раздувшуюся как сытый клещ, и прямо под ней голубые проблески молний.

«Вот это сон!» – думает она.

– Полагаешь, она замешана? – спрашивает старушечий голос.

– Думаю, она ничего не знает, – возражает мужчина. – Она в смятении и печали. Сломленное существо.

– Так она не несет угрозы?

– А вот этого я не говорил. Можно ли в безумии последнего времени быть уверенным, что угрожает, а что нет?

– Хм. Полагаю, мне стоит самой проверить, – говорит женский голос.

– О, по-моему, неразумно затевать сейчас что-либо опасное.

– В этом не будет ничего опасного. Во всяком случае, для...

Мона уже уверена, что голоса ей знакомы. Один предлагал ей завтрак, а другой, помнится, чаю? От удивления она поднимает голову и переворачивается.

Видит она две статуи, стоящие по сторонам от нее, – огромные странные фигуры: одна выглядит словно природной колонной, другая похожа на мамонта или огромного безголового и многоногого быка. Обе фигуры выше статуи Свободы и, соответственно, сфинкса и изваяны из того же черного камня, составляющего ночную пустыню. Обе возвышаются прямо над ней, словно, прогуливаясь (могут ли такие создания гулять?), наткнулись на лежащую женщину и остановились разобраться. Но луна светит сзади, и Моне видны только нависшие над ней силуэты.

– Постой, – говорит мужской голос. – Она не смотрит ли на нас?

– Она нас *видит*?

– Как она может...

Молниеносное движение – мозг Моны не сразу осознает, что это было, а когда осознает, все равно настаивает, что такое невозможно.

Статуя, похожая на быка, взмахивает конечностью. Чего статуи делать не должны, говорит себе Мона. А если она машет, значит, не статуя, а...

Мона вдруг проваливается, рушится с черной равнины в темноту. Падает, пока не ударяется о матрас – что непонятно, ведь она только что на нем лежала, – и, проснувшись, как от удара, задыхаясь, озирается по сторонам.

Она лежит в углу главной спальни своего дома. И, хотя готова поклясться, что она здесь не одна, но, оглядев все темные углы, никого не находит. Просторная комната пуста.

Тишину разбивает пронзительный визг звонка. От неожиданности у Моны сводит все мышцы, в животе и плечах отзывается острая боль. С новым звонком она понимает, что слышит стоящий в пыльном углу гостиной аквамаринный телефон.

Подойдя к нему, она пережидает еще четыре звонка. Звонящий, кем бы он ни был, не сдается.

Мона ожидает той же шутки, что в прошлый раз. Подняв трубку, она рывкает в нее:

– Какого черта?...

В трубке изумленно ахают и застенчиво откашливаются.

– Да, – торопит Мона. – Продолжайте. Говорите.

Тишина.

Затем:

– Вам надо ехать домой.

– Что? – не понимает Мона. – Вы о чем, черт возьми?

– Уезжайте домой, мисс Брайт. – Голос слышится как сквозь прижатый к микрофону носок, но все равно понятно, что говорящий очень молод.

– Я дома, – отвечает Мона.

– Нет, домой, откуда приехали. Уезжайте из этого города.

– Понятно, только... не лезли бы вы не в свое дело.

– За вами *следят*, – настаивает голос. В нем слышен подлинный ужас. – Они о вас говорят.

– Кто?

– Они все. Вы что, не знаете, *что* они такое?

– Что? – переспрашивает Мона. – Что значит – «что»?

– Уезжайте как можно скорее, – говорит голос. – Если они вас выпустят.

Щелчок – и линия глохнет.

Мона осматривает трубку и задумчиво опускает ее на место.

Этот голос ей знаком, наверняка.

Она возвращается в постель и уже засыпает, когда ее осеняет мысль: не этот ли голос советовал ей недавно хлебцы с подливой? Но Мона уже спит, и мысль исчезает, забывается.

Миссис Бенджамин накрыла к обеду у себя во дворе за домом. На улице прохлада – двадцать два градуса, а тополя у нее тщательно подрезаны так, что образуют над двориком легкий балдахин, защищающий от полуденного солнца. Садик у нее, прямо сказать, потрясающий: большие купы цветущих выюнков расползаются по чугунной ограде, а острые листья лилейных торчат вдоль гранитных бордюров. Вид как с картинки из журнала «Жизнь на юге», и к ее гостям, к сожалению для Моны, это тоже относится: все пришли в летних платьях с подобранными в стиль украшениями, в легких туфельках и узких очках от солнца. Мона, выросшая на нефтяных равнинах и общавшаяся лишь с замкнутым мужем, всегда сомневалась в своей женственности, а здесь чувствует себя вовсе не на месте, с таким уровнем эстрогенов ей не тягаться. Не улучшает положения и ее малый рост, наряд – словно выбралась в туристский поход, и явная принадлежность к латиносам, которых здесь, кроме нее, нет.

А вот что удивительно: вопрос расовой принадлежности и носа не кажется. Для Моны это непривычно, она изъездила весь Техас, работала в белейшем обществе и повидала самые разнообразные реакции на свой расовый тип. Винк белый на девяносто восемь процентов, и она ожидает хоть чего-нибудь, тем более от этих светских дам: ну, хоть осторожно осведомятся, откуда она, или неловко поинтересуются, не билингва ли (на что придется ответить «нет» – если она и нахваталась испанского, то только за время службы в Хьюстоне, то есть ее знание языка ограничивается командами, угрозами и совершенно неприличными вопросами). Но вопроса вообще не возникает. Да если подумать, никто в Винке и слова не сказал по поводу ее расы: ее цвет кожи и вообще наружность не обсуждается и как будто не замечается. Можно подумать, горожане привыкли видеть не похожих на себя людей.

И все же Мона чем дальше, тем больше стесняется. С женщинами этого типа ей встречаться не доводилось: они пьют коктейли в полдень, вставляют сигареты в тонкие мундштучки, а разговоры у них все о домашнем хозяйстве да о мужьях и детях. Пожалуй, такой была Кармен лет пятнадцать назад. Компания веселая, говорливая, идеальные прически, за темными очками блестят глаза и улыбки, а энтузиазм, с которым встречают Мону, ее просто пугает. Кажется, никто из них не работает. Чтобы так прекрасно жить на один доход, здесь должны быть отличные проценты по вкладной. Моне удастся ненадолго перевести разговор на причину ее появления в Винке и вставить несколько вопросов о матери – но, ясное дело, как и раньше, никто ничего не знает: дамы смеются над своим неведением и весело перескакивают на новую тему. Мона при всем презрении к их привилегиям, к их изоляции от реального мира невольно завидует.

Большей частью они охотно избавляют ее от необходимости поддерживать разговор, но в конце концов возникает прямой вопрос, которого Мона страшилась с самого начала.

– Так вы, Мона, у нас осядете? – спрашивает та, которую вроде бы зовут Барбарой. – Понимаю, что вы еще молоды, но слишком не затягивайте.

От этих слов во рту у Моны остается дурной привкус, но все же она пытается улыбнуться.

– Мне скоро сорок.

– Как? – восклицает Барбара. – Скоро сорок! Вам больше двадцати семи ни за что не дашь! В чем ваш секрет? Непременно расскажите. Я буду вам руки выкручивать, пока не признаетесь.

Другие дамы кивают. Кое-кого известие о ее возрасте, кажется, даже оскорбило.

Для Моны это не новость, она видела, как у подруг появляется седина и морщины, пока сама она оставалась более или менее прежней. Она сознает, что ей повезло, хотя представления не имеет почему. Отец и мать ее выглядели сильно *старше* своих лет, но ведь один принимал алкоголь вместо снотворного, а другая была шизофреничкой, так что это ни о чем не говорит.

– Думаю, просто гены. Не могу сказать, чтобы я берегла себя.

– Ну, давно пора кому-нибудь вас подцепить, – заявляет платиновая блондинка, кажется, Элис. – Я вижу, на пальце нет кольца.

И опять Мона пытается улыбнуться, но выходит кислая гримаса.

– Ну, кольцо было – однажды.

Впервые за этот день по компании перепархивает неловкость.

– То есть вы были помолвлены и помолвка... распалась?

– Нет, – объясняет Мона. – Я была замужем. Но мы развелись, – добавляет она, не дав им времени спросить, не скончался ли ее муж – вероятно, этот вариант их бы больше устроил.

– Ах, – произносит Барбара. Женщины кто притихли, кто переглядывается между собой. После затянувшейся паузы тему решительно меняют, и разговор весело журчит дальше, но теперь к Моне куда реже обращаются с вопросами.

А вот миссис Бенджамин на новости вовсе не отозвалась. Строго говоря, она за все это время только и делала, что передавала соседкам угощение и наблюдала за Моной. Мону это понемногу выводит из себя: каждый раз, подняв глаза, она натывается на пристальный взгляд улыбающейся миссис Бенджамин.

Та заговаривает с ней только после окончания обеда, когда все расходятся:

– Я была бы рада, если бы вы смогли задержаться, милая. Мне кажется, нам есть что обсудить.

Мона покорно ждет на крыльце, пока миссис Бенджамин провожает гостей. Возвращается хозяйка все с той же легкой понимающей улыбкой на губах.

– Вам понравилось?

– Несомненно, это было... – Мона сбивается, не зная, как закончить.

– Ужасно? – подсказывает миссис Бенджамин.

Мона колеблется, а миссис Бенджамин только смеется.

– Ох, не смущайтесь так, девочка моя. Для любого разумного человека это компания пустоголовых дурочек. Потому-то я и не предлагаю им хорошего чаю, – подмигнув, добавляет старуха.

– Зачем же вы их тогда приглашаете? – раздраженно спрашивает Мона.

– А, просто чтобы их попрезирать, пожалуй, – не слишком вразумительно отвечает миссис Бенджамин. – Заварить свару. Они, видите ли, друг друга не выносят. Надо же мне как-то развлекаться.

– И меня вы позвали, чтобы заварить свару покруче?

– Нет. Я хотела посмотреть, как вы с ними справитесь.

Мона замирает. Переводит дыхание. И говорит:

– Мэм, признаться, я не разбираюсь в хитросплетениях здешних общественных отношений и, честно говоря, не слишком хочу вникать. Но об одном я вас очень, очень прошу – никоим образом не вмешивайте в эту фигню меня. Поверьте, так и для вас будет лучше.

– О, не спешите так, пожалуйста. Я не из жестокости. Просто хотела посмотреть, как вы впишетесь.

– Ну, я бы сказала, препаршиво вписываюсь, но это мое дело, а не ваше. А теперь... вы меня заманили, обещая ответить на несколько вопросов о городе и о моей матери, – напоминает Мона. – Можно мне задать эти вопросы?

– О, конечно, – обиженно отзывается миссис Бенджамин. – Вперед, милая.

Женщины усаживаются на крыльце, и Мона рассказывает, как унаследовала дом и как странно добиралась сюда. После окончания рассказа миссис Бенджамин долго-долго молчит.

– Хм-м, – тянет она под конец. – Ну, я и сейчас скажу, что не помню, чтобы в Винке жила или работала какая-нибудь Лаура Альварес.

– У меня есть фотографии ее жизни в том доме, – говорит Мона.

– Какого времени?

– Точно не скажу. Где-нибудь в семидесятых, пожалуй.

– Хм-м, – повторяет миссис Бенджамин. – Я помню давние времена... но не все. Так что могу и ошибаться. Возможно, она жила здесь еще до меня.

– И у меня остались документы Кобурнской, доказывающие, что она там работала, – продолжает Мона. – Они отсюда совсем ушли, вообще не к кому обратиться? К каким-нибудь представителям власти? Просто мне нужно хоть что-нибудь о ней узнать.

– Кобурнская, – пренебрежительно повторяет миссис Бенджамин. – Чертова лаборатория. Кто их знает, что там у них в бумагах. Я бы не поверила ни слову, исходящему оттуда, сверху. Все их постройки располагались на горе, после закрытия их выпотрошили и забросили.

Мона отмечает это в памяти. Потому что собирается на гору, и очень скоро.

– Чем они там занимались? – спрашивает она. – Я читала, что работали на государство, занимались вроде бы... квантовыми состояниями.

Миссис Бенджамин обращает взгляд в пространство.

– Ничего стоящего они не сделали, – сообщает она наконец. – Им следовало больше внимания обращать на коммерческие аспекты. На прикладные идеи. А не теоретизировать. Это до добра не доводит.

– В смысле – они ничего не добились? – спрашивает Мона.

– Хм? Кто это вам сказал?

– Мистер Парсон. Это хозяин...

– Мистера Парсона я знаю, – прерывает миссис Бенджамин. – Мы хорошо знакомы. А Кобурн... что ж... они добились одного. – Поразмыслив, она спрашивает: – Вот вы... хотите посмотреть фокус?

– Что?

– Фокус. Я до смерти заскучала за обедом, милая, так что фокус должен нас развлечь. Заходите в дом, я покажу.

– Я думала, вы собирались мне помочь, – говорит Мона, проходя в дверь за миссис Бенджамин.

– Собираюсь, – кивает миссис Бенджамин. – Вы уж потерпите меня, пожалуйста.

Усадив Мону на кушетку, она уходит в глубину дома. Внутри он далеко не так привлекателен, как снаружи: кошмарные цветастые обои, только в гостиной уступающие место красному узору с картинами охоты на лис. Несколько совиных чучел, надо думать, принесены домой со службы. Где-то здесь, должно быть, есть комната, полная часов, потому что Мона слышит непрерывное хоровое тиканье. Все пропахло смесью цветочных лепестков.

– Ну вот, – подает голос миссис Бенджамин, возвращаясь в комнату. Установив на кофейный столик перед Моной деревянный ящичек, она выпрямляется. Улыбка ее куда-то пропала, старуха мрачно смотрит на Мону. И открывает ящичек. Внутри – серебряное зеркальце. – Я получила эти зеркала от древнего старика-свами, – нарочито приглушенным тоном объясняет она. Мона недоумевает, но довольно быстро разбирается, что в ящичке два зеркальца, сложенные друг на друга. – Они издалека, с Востока.

– Неужели? – спрашивает Мона.

Миссис Бенджамин не выдерживает торжественного тона.

– Конечно, нет, глупышка, – говорит она. – Но это же фокус. – Она колеблется. – Я сказала «древнего», да? Об этом забудем... перейдем к самому интересному. – Достав зеркальца, старуха вручает их Моне. – Вот, держите.

– Мне их держать?

– Ну естественно, – уже с явным нетерпением бросает миссис Бенджамин. – Держите. Скорей!

Мона берет по зеркалу в каждую руку. Они на удивление легкие и тонкие, как бумага. Она ожидала причудливого декадентского реквизита – раз уж фокус, – но зеркала практически ничем не украшены. Серебряные плоскости на серебряных ручках, и только.

– На самом деле это половинки одного зеркала, – объясняет миссис Бенджамин. – Как будто одно зеркало треснулось посередине, расщепившись на два. Штука в том, что, разделившись, зеркало того не заметило. Оно воображает себя единым, а это не так. Из случившегося недоразумения следуют интересные вещи. Позвольте, я покажу, как делается фокус с зеркалами. Сначала расположите одно зеркало перед собой под углом, чтобы оно отражало соседние предметы. Скажем, эту пепельницу. – Она указывает на чудовищно безвкусную латунную цапку на кофейном столике. – Потом второе зеркальце приложите к первому сзади, чтобы они составили одно целое.

Мона ждет продолжения.

– Ну что же вы? – торопит миссис Бенджамин. – Делайте.

– О, – спохватывается Мона, – вы хотите, чтобы я... о, хорошо. – Она наклоняет первое зеркало, чтобы в нем отразилась пепельница. – Так?

– Лишь бы вы видели пепельницу, – кивает миссис Бенджамин. – Теперь приложите второе сзади.

Мона задвигает второе зеркало за первое, отражающее пепельницу. Ей кажется, что зеркала слипаются, как намагниченные.

– Теперь... сосредоточьтесь, – тихо говорит миссис Бенджамин. – Смотрите на отражение пепельницы, не отводя взгляда. Уставьтесь на него и сосредоточьтесь. Запомните вид и держите его в голове.

Она опять серьезна до угрюмости, и теперь Моне кажется, что это не наигрыш. До тошноты сладкий запах лепестков становится острым и сильным, Мона ощущает легкую дурноту.

– Сосредоточились? – спрашивает миссис Бенджамин.

– Да, – бормочет Мона, не отрывая глаз от зеркала. Она отмечает, что стекло без рамки, а на поверхности ни щербинки, ни царапинки. Легко забыть, что видишь отражение. Зеркало такое гладкое, что похоже на оконце или на пузырек света, плывущий над коленями, а в пузырьке – изображение пепельницы.

– Хорошо, – говорит миссис Бенджамин. – Теперь продолжайте смотреть на отражение в верхнем зеркале, не нарушайте концентрации. И при этом медленно-медленно выдвиньте из-под него нижнее зеркало. Только без рывков. Поняли?

– Вроде бы.

– Тогда действуйте, пожалуйста.

Более странного фокуса Мона не видала, но она готова подыграть капризам старушки. Не отрывая взгляда от отражения, она начинает разводить зеркала. Слышен щелчок, словно они и в самом деле были притянуты друг к другу, и все... меняется.

В чем меняется, рассказать невозможно. Как будто все предметы в комнате стали подделкой самих себя, дешевой фабричной копией настоящего. Цветочный аромат усиливается до того, что словно мерцает в воздухе. Но краем глаза Мона вроде бы видит солнечный свет, просачивающийся сквозь непрозрачные предметы: сквозь крышу, сквозь подсвечники, даже сквозь пол, словно все здесь состоит из льда. А под этим светом тысячи теней.

– Сосредоточьтесь, – тихо произносит миссис Бенджамин.

Мона вспоминает, чем занята, и усердно глядявается в отражение пепельницы в верхнем зеркале.

А из-под первого медленно выдвигается второе, и в нем она тоже видит пепельницу – точь-в-точь такую, как отражена в верхнем. Даже отодвинув второе зеркало так, что оно не смотрит на пепельницу и вообще на столик, а обращено к гостиной.

«Это не отражение, – вопреки рассудку думает Мона. – Пепельница застряла в зеркале».

Она старается не нарушить сосредоточенности. И тогда начинается происходить что-то очень странное.

Для начала нелепая пепельница все так же стоит перед ней на столике. Мона ее видит, и безделушка отражается в первом зеркале, которое на нее смотрит. Но она отражается и во втором зеркале, что совершенно непонятно, потому что второе к ней не обращено. Это уже само по себе тревожно, но что действительно пробирает – что второе зеркало показывает пепельницу над обеденным столом, стоящим в десяти футах правее, хотя Мона прекрасно видит пепельницу на кофейном столике перед собой.

Но если ей не мерещится, она видит краем глаза что-то, зависшее над столом примерно там, где должна быть пепельница, если судить по отражению во втором зеркале?

«Этого не может быть, – думает Мона, – потому что, во-первых, это против закона тяготения и, во-вторых, не может же предмет находиться в двух местах одновременно?» Она ведь видит пепельницу, стоящую на кофейном столике перед собой, но и в двух зеркалах тоже, и, если она не сошла с ума, пепельница еще и плывет над обеденным столом со скоростью, с какой Мона поворачивает зеркало. Как будто, раз уж пепельница отражается в обоих зеркалах, мир пытается подстроиться, создать отражающиеся предметы, хотя их и не должно бы быть.

– Хорошо, – доносится откуда-то голос миссис Бенджамин. – Очень хорошо...

Пока Мона пытается разобраться, в пепельнице на столике появляется какая-то легкость, бестелесность. Она как бы становится полупрозрачной, сквозь нее просачивается свет. А потом пепельница начинает вздрагивать, как лучи стробоскопа, и исчезать...

Мона ахает.

– Нет! – вскрикивает миссис Бенджамин, но она опоздала. То, что плавало над обеденным столом, рушится вниз и беззвучно пропадает. И сразу все становится как было: одна пепельница стоит на кофейном столике, и все остальное снова плотное, непрозрачное, реальное.

– Что это было? – Мона поспешно кладет зеркала на место. – Что за чертовщина?

Но миссис Бенджамин встревожена еще сильнее Моны. Она очень серьезно рассматривает пепельницу на столике. Наконец, откашлявшись, заявляет:

– Кажется, я была неправа, девочка моя. Возможно, вам и в самом деле место в Винке.

– Что это значит? – не понимает Мона.

Ответить миссис Бенджамин мешает стук в дверь. Обе подскакивают от неожиданности, и миссис Бенджамин недоуменно оборачивается.

– О, – бормочет она, когда стук повторяется. – Наверное, надо открыть...

Встав, она ковыляет к двери.

Тем временем Мона рассматривает лежащие в ящичке зеркала. Теперь в них не заметно ничего необычного: всего лишь два зеркальца, отражающие потолок. И все же Мону немного знобит.

Слышно, как открывается дверь.

– О, – произносит миссис Бенджамин – только в этот раз без всякой радости.

– Здравствуй, Миртл, – тихо произносит мужской голос. – Я...

– О, здравствуй, Юстас, – быстро и громко перебивает его миссис Бенджамин. – Заходи, прошу. У меня гостя.

Она отступает в сторону, и Мона видит маленького старичка, продавшего ей матрас, мистера Мэйси. Но сейчас тот не заигрывает и не острит – он ужасающе серьезен.

– Гостя? – повторяет он.

– Да. – Миссис Бенджамин проводит его в комнату. – Это мисс Брайт, она недавно в городе. Мисс Брайт, это Юстас Мэйси. Он работает в универсальном магазине.

– Мы знакомы, – говорит Мона.

– О, как я рада. Что тебя сюда привело, Юстас?

– Пришел кое-что обсудить, – отвечает мистер Мэйси, даже не взглянув на Мону. – Наедине.

– Нельзя ли отложить, Юстас?

– Нет, – отвечает он. – Нет, Миртл, нельзя.

Бросив на него сердитый взгляд, мисс Бенджамин поворачивается к Моне.

– Ты уверен, Юстас? – Ее голос источает фальшивую любезность.

Тот кивает.

– И никак нельзя подождать?

Он с прежней серьезностью качает головой. Миссис Бенджамин улыбается так старательно, что Мона опасается, не треснули бы у нее щеки.

– Хорошо, – сквозь зубы цедит она. – Мона, вы извините нас на минутку? Понимаю... вы ведь хотели попробовать мой чай?

Моне ни за каким чертом не нужен чай миссис Бенджамин, но старуха в таком настроении, что возразить она не осмеливается.

– Превосходно! – восклицает миссис Бенджамин. – Заварка в кухне. Выбирайте по своему вкусу.

Поблагодарив, Мона уходит в кухню, а миссис Бенджамин с мистером Мэйси начинают приглушенно переругиваться. Мона гадает, не стала ли свидетельницей размолвки любовников (от этой мысли ее тошнит), а потом припоминает, как неловко приветствовала гостя миссис Бенджамин – словно боялась, не сказал бы он лишнего. Мона гадает о причине, пока не подходит к полкам с чаем – и не обнаруживает, что это не полки, а целая сокровищница – отдельная комнатка, полная жестянок, баночек, стеклянных контейнеров. Все тщательно написано: один отдел занят красным чаем (лимонным и медовым), затем несколько контейнеров с улуном, белым и зеленым чайным листом (на каждом ярлычке латинское название одного из видов камелий, как догадывается Мона, подмешанных в чай), затем несколько баночек с неким «кирпичным чаем», а дальше полка с ярлыками, подписанными каким-то восточным алфавитом.

Но остановиться ее заставляет следующий отдел. Здесь на склянках и стаканчиках желтые этикетки, и скрываются в них не чайный лист и не шарики – этим Мону не удивить. Похоже, те чаи миссис Бенджамин составляет для себя, и в них есть что-то от грибов. В одной склянке Мона обнаруживает желтые катышки сосновой смолы, проросшие чем-то зеленым и развесистым. На ярлычке надпись: «Старая сосновая горячка». Видимо, это и пила вчера миссис Бенджамин.

Здесь еще много всякого. Закупоренный графинчик наполовину полон мясистых розовых корешков в чем-то похожем на акрил. Надписано: «Звездные завитки». В другом плавают в зеленоватой жидкости белый мох, а надписано: «Мамоновы слезы». В колбе Эрленмейера⁵ летучий порошок проросших снизу грибных спор с надписью: «Раскаяние бизры». А за ним три сосуда с травяным порошком, перемешанным с белой и желтой крошкой мыльной основы. На этикетках: «Страдание», «Гнев» и наконец «Вина».

Мона перечитывает второй раз. «Она называет свои чаи по эмоциям? – думает она. Но какая-то немного свихнувшаяся часть души подсказывает: – Или она заваривает чай из эмоций?»

Трудно поверить, но дальше этикетки еще удивительнее (и чем глубже Мона заходит в чулан, тем темнее становится, хотя света хватает). Названия превращаются в вовсе произносимые: например, «Эль-Абихеелт Ай-Айн», «Хайуин Та-Ал», «Чайжура Дам-Ууал». Что в склянках, толком не рассмотреть, стекло закопченное, словно они постояли на углях для барбекю. Дальше идет вовсе невиданный алфавит. К тому же Моне не вообразить, в какой стране он используется: резкие штрихи и мазки, а многие буквы наклонены друг к другу под разными углами, так что непонятно, читать это слева направо, но вверх ногами или справа налево.

«Откуда этакая чертовщина? – гадает Мона. – Или она это все сама придумала? В *здешних* местах?»

Взяв одну банку в руки, Мона переворачивает ее. Эта тоже закопченная, но есть места попрозрачнее. Похоже, к крышке подвешены как бы виноградные грозди, только какие-то желтоватые и странно позванивают. Звон продолжается, хотя Мона уже не вертит банку. Только через минуту она замечает, что ягоды вращаются, и на каждой видно темное пятнышко, почему-то зеркальное, и каждая разворачивается так, чтобы обратиться к ней этим пятнышком.

Мона готова поверить, что это глаза. Как будто внутри банки подвешены связки маленьких глазок и все уставились на нее.

Задохнувшись, она запрокидывается назад, но чьи-то руки не дают ей упасть.

– Боже мой, милая, что это с вами? – слышит она голос миссис Бенджамин.

Мона шарается в другую сторону, потому что, познакомившись с этой заваркой, пугается хозяйки не меньше, чем содержимого банки. Затем она оглядывает полки, но все странные склянки пропали: больше не видно закопченных колбочек с этикетками на неизвестных языках и чаев, похожих на результаты экспериментов безумного ученого. Даже банка у нее в руках другая – вместо глазок в ней цветы жасмина.

Оглянувшись на миссис Бенджамин, Мона и в ней не находит ничего устрашающего: просто озабоченная старушка стоит у входа в чулан.

– Я вас напугала? – спрашивает она.

– Я... мне бы присесть.

– Голова закружилась? – Миссис Бенджамин помогает Моне добраться до кресла. – Со мной часто бывает. Только что все было яснее ясного и вдруг как закрутится. Это старое тело меня подводит, вот что я думаю.

Она подает Моне стакан воды. Осушая его, Мона не сводит глаз с чайного чулана. Она готова к тому, что комнатка снова наполнится жуткими образчиками заварки, но ничего такого не происходит.

– Мистер Мэйси уже ушел? – спрашивает она.

– Да, – кивает миссис Бенджамин. – Он просто заглянул поделиться новостями. То есть это он думает, что новостями. То, что тебе известно, уже не новость, верно?

– А что за новость?

⁵ Лабораторная колба конической формы.

– А, – уклончиво объясняет миссис Бенджамин, – вы же знаете нас, стариков. Мы обожаем соревноваться и ссориться по пустякам. Грыземся из-за цветка розы и сухого сучка, из-за собак и кошек и прочего в этом роде. И как прослышит кто о новом преступлении, мчится рассказывать всему городу. Хотя, если посмотреть со стороны, это довольно мелко. Надо бы нам, пожалуй, чем-то отвлечься.

– С ним ничего не случится? – спрашивает Мона.

– О, все с ним будет хорошо, – заверяет миссис Бенджамин. – Уверена, все будет хорошо. И с ним, и с нами со всеми. – Она отворачивается, смотрит в окно на лес и на гору за ним, и что-то в ее глазах наводит Мону на мысль, что она убеждает не столько гостью, сколько самое себя.

– Что-то случилось? – спрашивает Мона.

– А что, – удивляется миссис Бенджамин, – вам кажется, здесь что-то неладно?

Следовало бы, конечно, ответить решительным «да!». Мона чувствует, что фокус с зеркалом нечто переменил в ней, будто сломалось что-то внутри (тихо щелкнув, как два разделившихся зеркальца), или, может быть, кто-то дотянулся и открыл все окна у нее в голове. Вот отчего эти странности с чайным чуланом.

«Если не хуже того, – думает Мона. – У матери имелись умственные отклонения – мягко говоря. Но поначалу Лаура была в порядке, значит, она, наверное, сломалась разом уже в возрасте... скажем, около сорока. Не наследственное ли это?» – думает Мона.

– Наверное, мне пора домой, – говорит она вслух.

– Вы плохо выглядите, милая, – беспокоится миссис Бенджамин. – Машину-то вести сможете?

– Со мной все хорошо, – тихо отвечает Мона и, поблагодарив миссис Бенджамин, выходит на улицу и садится в свой «Чарджер». Но заводить мотор не спешит. Вместо этого она разглядывает себя в зеркале, всматривается в глаза, словно надеется обнаружить в них перемену, доказательство, что она в самом деле сошла с ума.

Глава 11

Когда солнце переваливает через вершины и заливает лучами долину, Винк наполняется всепоглощающим сосновым ароматом. Конечно, это пахнет лес: солнце буквально высасывает остатки сока из ветвей. Естественно, большая часть достается ближайшей округе, и, сколько ни уверяй, что этот аромат им по душе, кое-кто втихомолку признается, что не отказался бы от перемены и, по чести говоря, для разнообразия согласен даже на целлюлозно-бумажный комбинат.

Среди тех, кто сознается в этом беззастенчиво и прилюдно, – Элен Тюргрин. Большею частью местные держат недовольство при себе, но Элен почти целый день проводит во дворе, где запах просто сбивает с ног, так что она считает себя вправе ворчать. А выходить во двор она *вынуждена*, ведь ее участок невесть как превратился в проходной двор, и бездумные люди громят розовые клумбы.

Выволакивая из гаража лопату, грабли и тяпку, она бранится едва ли не вслух. Хоть бы кто обмолвился, как популярен этот маршрут, думает она. Вряд ли бы они тогда купили этот дом. Но здесь мало о чем упоминают в разговорах.

Хорошенько дернув, она высвобождает грабли из путаницы садового шланга, по инерции делает шаг-другой назад и оказывается перед густым, великолепным кустом накодочесской розы (редкий привой). Вернее, куст был и густым, и великолепным, а теперь три самых многообещающих бутона обломаны и бурыми сухими сучками свисают с ветвей. Не иначе, какой-то турист сдуру вломился в несчастные цветы.

– Сукин сын! – бранится Элен. Этим надо заняться, решает она. Столько дел, которыми надо бы заняться. Но все пустяки в сравнении с состоянием ее скверика, из-за которого она и полезла в такой жаркий день за граблями и тяпкой.

– Что-то не так? – спрашивает чей-то голос.

Оглянувшись через плечо, она наблюдает невиданное в Винке зрелище – незнакомку. Впрочем, подумавши, Элен признает невысокую, яркую женщину, черноволосую и смуглую. Это она поселилась дальше по их улице, а до того прикатила в городок на нелепой машине и испортила похороны. Элен представляла ее громогласной толстухой, но девушка, заговорившая с ней с тротуара, довольно миловидна или была бы, если бы озаботилась своей одеждой (Элен никогда не одобряла шорты из обрезанных джинсов) и прической (на взгляд Элен, не слишком женственной).

– О, здравствуйте, – отвечает Элен. – Нет-нет, все в порядке. Просто... браню цветы.

– О, – тянет девушка. – Мы, по-моему, незнакомы, мэм. Я теперь живу на вашей улице. Мона. – Она решительно сует Элен руку.

– Элен. – Стянув грязную рабочую перчатку, Элен отвечает на рукопожатие.

– Работаете сегодня в саду? – осведомляется Мона.

– Да. – Про себя Элен желает новой соседке идти своей дорогой.

Но та не уходит. Она оглядывает клумбы перед домом и говорит:

– Ну, работы у вас не много. Все и так потрясающе выглядит.

Элен натянуто улыбается. Ясно, что девица в этом ничего не понимает и не заметила разрушений.

– Да я не здесь, – говорит она. – Задний двор в полном беспорядке.

– Понятно. Извините, мэм, а можно вас спросить? Раз уж мы соседки, и все такое.

– Полагаю, можно.

– Вы давно живете в этом доме?

– Ох ты, господи. – Элен устало усмехается. – Слишком давно.

– Вы, случайно, не жили здесь, когда в моем нынешнем доме обитала Лаура Альварес? – Девушка указывает рукой, будто Элен сама не видит, где стоит ее дикая красная колымага. – Вот в том доме.

Подумавши, Элен отвечает:

– Нет. Боюсь, не припомню. Право, сомневаюсь.

– Она могла работать в горной лаборатории, в Кобурне.

Элен недоверчиво морщит лоб и озирается.

– Об этом ничего не знаю.

– Разве? Кажется, город вокруг нее и вырос?

– Ничего не знаю, – повторяет Элен. – Кобурна давным-давно нет.

– Вы не знаете, когда они закрылись?

Элен, уже теряя терпение, мотает головой:

– Нет, не знаю.

– О... – Мона смотрит на лопату в руке у Элен и переводит взгляд на калитку в задний двор. Элен, не вытерпев, заслоняет ей вид. – Ну что ж, – говорит девушка. – Все равно спасибо. Буду благодарна, если вы что-нибудь припомните.

Помахав на прощанье, она удаляется в сторону своего дома – руки в карманы.

– Та-та, – цокает языком Элен. И провожает девушку взглядом, радуясь, что разговору конец. В Винке есть темы, которые не обсуждаются, и среди них – Кобурнская, хотя ее эмблема – атом водорода в луче – скромно украшает почти все муниципальные строения... надо только знать, где искать. Зачастую вы обнаружите эмблему на неприметном уголке фундамента или в самой нижней части фонарного столба, но надо сразу забыть, что вы ее видели, что в Винке, конечно, не проблема, здесь отлично умеют забывать, здесь забыть – что глазом моргнуть. Хотя есть вещи, забыть которые намного труднее, чем этот маленький значок.

Элен волочит орудия труда за дом. Она не солгала девушке – здесь немалый беспорядок. Но дело не в лилиях, которые пора бы проредить, и не в разросшемся сверх меры пурпурном выюнке; посреди двора огромный провал, чуть не пять футов шириной. Право, яма имеет весьма необычную форму: посредине большая окружность с четырьмя довольно странными придатками вроде палочек: три кривоватые с одной стороны, и большой квадратный торчит с другой. Трудно догадаться, отчего могла возникнуть такая нелепая форма. Провал – это первое, что приходит в голову, но вокруг земля вполне надежная. Таким мог бы оказаться промыв или след лужи, но и этот вариант приходится исключить, потому что тогда яма не объявилась бы за одну ночь.

Бросив инструменты, Элен торопливо принимается закапывать яму. Ее муж Даррел, человек довольно никчемный, выходит посмотреть, но помощи не предлагает.

– Большущая, – тихо говорит он, постояв.

Элен уныло кивает и возобновляет работу.

– И прямо во двор, – продолжает он.

– Оно и видно, – замечает Элен.

– Им не положено сюда являться, – говорит муж. – *Они* не выходят из леса. А *мы* в лес. Такие правила.

– Ты что, – выговаривает Элен, работая лопатой, – за дуру меня считаешь? По-твоему, я этого не знаю?

– Ты как думаешь, это который был? – спрашивает муж. – Мы могли бы на него донести. Да и должны донести. Если еще осталось кому... Наверное, Мэйси подойдет.

Оторвавшись от работы, Элен поднимает голову. Двор обнесен высокой изгородью, но и через нее женщина видит долину внизу. Прожив в этом доме не один год, она успела понять, почему их двор стал проходным: здесь ближе всего от поросших лесом склонов до города. Все,

что выходит из леса и направляется в Винк, естественно, идет этой дорогой. А то, что выходит из леса, – добавляет про себя Элен, – никак не усвоит концепции частной собственности.

Под столовой горой пролегает голый безлесный каньон, и на нем Элен надолго задерживает взгляд.

«Наверняка этот, – рассуждает она про себя. – Это не мог быть кто-то из малых. Этот из самых больших. Такое уж мое везение.

Как я ненавижу этот дом!»

Она оборачивается лицом к мужу.

– Нет, – говорит она, – доносить ты не будешь. Не на этого, уж точно. Ну, ты так и собираешься здесь стоять? Делать нечего?

– У меня спина болит, – оправдывается муж.

– Вечно у тебя спина. – Она снова берется за лопату. – Или колено. Или лодыжка.

– У меня плохие суставы, – объясняет он. – Это наследственное.

Элен фыркает.

Помолчав, Даррел начинает снова:

– Он прямо посреди двора встал. Что ему тут понадобилось?

– Полагаю, то же, что остальным, – отвечает Элен.

– Это что же?

Отложив лопату, она начинает заравнивать землю граблями. Потом надо будет заложить дерном и поливать, тогда со временем все зарастет, и никто не подумает, что здесь случилось что-то необычное.

– Приходил посмотреть на новенькую, – говорит Элен.

Глава 12

Ночь будет плохая, Джозеф чувствует это заранее. По тому, как деревья начинают пожирать солнце, по тому, как звезды, прокалывая мягкую синеву неба, светят чуточку слишком ярко. По тому, как ветер трется спиной о сосны и те раскачиваются немножко сильнее, чем должны бы. И даже по тому, как горит люстра над обеденным столом: свет плоский, безжизненный, словно от неоновой лампы, забитой трупиками насекомых. От этого еда делается безвкусной, а кожа выглядит пергаментной.

В такие вечера его семья поскорее заканчивает дневные дела и отправляется по постелям. Мало не выходить из дому. Даже бодрствовать нехорошо. Тот, кто бодрствует, привлекает внимание, а это совсем ни к чему.

Но Джозеф как раз не спит, лежит в постели, глядя в потолок. Он пытается не замечать пляшущих по шторам теней. Он старается не вспоминать Грэйси, ее холодных рук и опечаленных глаз. Она в последние дни все печальнее, а Джозеф, после того как их застал мистер Мэйси, не смеет с ней встретиться. И старается не думать, что могло случиться там, среди плоских холмов и утесов вокруг города, в темных улицах и переулках или на игровой площадке начальной школы. Сегодня точно плохая ночь. Хуже давно не бывало.

Он замирает и приподнимается на кровати. Почудилось или что-то стукнуло в окно? Он быстро понимает, что не почудилось, потому что раздается новый стук, чуть громче. И тихая дробь, как от капель дождя по стеклу, как будто песок...

Он встает, подходит к окну, но штор не раздвигает. Сквозь них пробивается свет фонарей снаружи. Что-то темное взлетает вверх и ударяет в стекло с той стороны, и снова слышится стук.

«Кто-то что-то бросает в окно, – думает он. – Или ветер что-то носит?»

Джозеф тянется к шторам, но медлит. Он никогда не слышал, чтобы ночами к кому-то стучались в окно... так не положено. А если кто-то прознал, что он не спит? Если так оно и полагается за такое преступление? Может, вот так оно и бывает...

Но Джозеф бросает осторожность на ветер и чуть-чуть приподнимает полоску шторы. В щелку пробивается свет, и он, прищурившись, вглядывается.

Его окно на нижнем этаже, из него виден начинающийся сразу за домом лес. Под деревом кто-то стоит, белая ладонь касается ствола и светится в отблесках фонаря.

Стоящий, кажется, досадует, не добившись ответа. Новый взмах руки, и, когда Джозеф уже собирается закрыть штору, за рукой на свет выступает та, кому она принадлежит.

Это Грэйси. Она одета в черное, только рубашка клетчатая. Кожа бледнее обычного. Под фонарем она кажется почти бескровной. Девушка снова машет ему.

Джозефа это беспокоит: им нельзя видаться, после того как Мэйси их застукал, да и ночь определенно неподходящая для прогулок. Бросив взгляд на деревья, он поднимает штору и открывает окно.

– Ты что делаешь? – шипит он подошедшей Грэйси. – Иди домой. Гулять опасно!

– Мне не опасно, – возражает она. В ее голосе мягкая пустота. – Выходи ко мне. Надо поговорить.

– Что? Ты с ума сошла? Нельзя мне туда!

– Если со мной, можно, – говорит Грэйси. – Выходи, Джозеф. Ничего с тобой не случится.

– Но мистер Мэйси нас поймал. Нельзя рисковать.

– Я про мистера Мэйси и хотела поговорить.

Джозеф вглядывается в склоняющиеся под ветром деревья. Вот-вот сломаются, уверен он.

– Они сердятся.

– Не сердятся, – поправляет она. – Им страшно. Они испуганы и растеряны. Выходи ко мне.

Джозеф заглядывает ей в глаза. В них что-то новое, чему там не надо бы быть. Цвет будто вылинял за одну ночь.

– Хорошо, – говорит он.

Надев тапочки, он вылезает к ней в окно. Она протягивает ему руку и уводит в лес.

Там ночью холодно и странно. Ветер, пролетая между стволами деревьев, наполняет лес голосами. Иногда они с Грэйси проходят поляну, какую не увидишь на Земле: черные блестящие камни, валуны, пьяно клонящиеся друг к другу под ночным небом. Понюхав воздух, Джозеф ловит запах электричества, ионизации и понимает, что Грэйси проводит его через зоны «Хода нет» – одну за другой. А вот той он никогда еще не видел, в городе о ней, может, и не знают. При этой мысли он чуть не падает от страха.

– Куда ты ведешь меня, Грэйси?

– К озеру, поговорить, – отвечает она. – В тишине. В лесу здесь слишком много глаз. И в городе слишком много глаз и ушей тоже, подслушивают все и всех.

– А у озера безопасно?

– Безопаснее, да.

– Почему?

– Потому что туда никто не любит ходить, – просто отвечает она.

Лесу нет конца. Джозеф и не знал, какой он большой. Да он и не решался особенно сюда соваться. Мальчишкой все мечтал, какой ребенок не мечтает приручить дикое царство, раскинувшееся прямо за порогом. Но его, как всех родившихся в Винке, с первых дней приучали держаться улиц, тротуаров, освещенных мест, где светит солнце и дует легкий ветерок. Другие места – лес и глубины каньонов... ну, просто эти места не для них.

Грэйси придерживает его за руку, они останавливаются. Девушка прижимает палец к губам. Потом, запрокинув голову, вглядывается в вершины сосен. Джозеф тоже смотрит, но ничего не видит. Кажется, они так стоят целую вечность, пока от вершин не доносится звук.

Ужасный звук, от него у Джозефа сводит зубы; будто кто-то набрал целый мешок особенно визгливых цикад и встряхнул его, чтобы расшевелить всех сразу. И все же в этом стрекоте Джозеф угадывает слова. То, что скрыто среди деревьев, передает, предупреждает: *«Эта моя территория. Не входить»*.

Грэйси заставляет его пригнуться, и они крадутся в обход места, откуда идет звук. Они уже выходят на прогалину, когда Джозеф, обернувшись, видит сквозь чащу стволов что-то у вершины дерева, в основании ветвей. Фигура темна, но напоминает ему человеческий силуэт, уверенно балансирующий на ветке, как петух на коньке сарая. В звездном свете Джозеф, кажется, различает очертания мужского лица, рот и нос, но не видит ни ушей, ни глаз... а когда пытается присмотреться, темный силуэт чуть сдвигается, откидывает плечи, поднимает голову, и лес вновь оглашается жутким стрекотом.

Сердце у Джозефа разгоняется так, что он даже в глазницах ощущает пульс. Тень на дереве дрожит, стрекотание замирает, и видно, что существо на вершине озирается, выискивает нарушителей границы.

Грэйси берет Джозефа за плечо.

– Идем, – шепчет она, – скорей.

– Ты вроде бы говорила, что в лесу тебе нечего бояться? – шепчет в ответ Джозеф.

– Я так думаю, но проверять неохота.

Обогнув тварь на дереве, они выходят на тропинку к озеру. Тропа очень крутая, но Грэйси, по-видимому, темнота вовсе не мешает, а за ней и Джозеф спускается без труда. Скоро деревья расступаются, открыв озеро; в сущности, это прудик, питаемый родником. Вода заполняет длинный и тонкий пролом в склоне горы. Она неподвижна, как зеркало: среди скал лежит

звездная лужица. На дальней стороне стоит дом старой мисс Такер. Джозеф отмечает, что та не спит и, похоже, ничего не боится: в доме горит весь свет, и в окно видно, как она там расхаживает. Но у нее ведь, по слухам, уговор, как у Грэйси.

Грэйси садится на каменный уступ у воды, и Джозеф пристраивается рядом.

– Ну что? – спрашивает он.

Грэйси только смотрит на розовую луну.

– Ты ведь знаешь, что я тебя люблю?

Ее вопрос застает Джозефа врасплох. Он не знает, что сказать. Он никогда об этом не думал. Он ее хочет, она ему нужна – это да, но это ведь немножко не то, что любовь.

– Надеюсь, что и ты, Джозеф, – продолжает Грэйси. – Кроме тебя, у меня в жизни ничего хорошего. Ты один нормальный. Ты один напоминаешь, что я тоже человек. Родители – нет, уже нет. Когда они заключили договор, все изменилось. А мистер Первый... Господи, иногда я уговариваю себя, что он... оно...

Она умолкает. Джозеф, робея, смотрит на нее и не знает, что делать.

– Так что? – спрашивает он. – Что-то неладно?

– Кто-то должен знать, – говорит она. – А я хочу о тебе позаботиться. – Она собирается с духом. – Помнишь, когда мы в прошлый раз виделись? Когда я шла повидать мистера Первого и мистер Мэйси нас застал?

– Да, – кивает Джозеф, от души жалея, что не может забыть.

– Они позволили мне присутствовать при разговоре. По-моему, не знали, что я могу их услышать и понять. Этот их разговор... он ненормальный. Не как люди беседуют.

– Не уверен, хочу ли я это знать, Грэйси, – предупреждает Джозеф. – Я и так уже слишком много знаю. Я раньше смеялся над такими вещами, но... но с тех пор, как Мэйси про нас узнал...

– Мэйси не до того, – говорит она.

– Точно?

– У него большие заботы. Он все ходит по округе, каждую ночь. Я его видела.

– Зачем?

– Ведет разговоры. Всем рассказывает новость. Сплетничает, я бы сказала.

– С кем?

– Многие из них на вид как мы, Джозеф, – объясняет она. – Таких, может быть, больше, чем ты думаешь. Они бы все не прочь – стать как мы. Но не все могут. Например, мистер Первый. И другие. Эти не могут остаться в городе. Им приходится искать свой путь.

Она смотрит в озеро. Джозеф, проследив ее взгляд, тоже всматривается в усеянную звездами воду. Он не сразу осознает, что взгляд проникает в глубину: там видны призрачно-серебристые камни и какие-то растения, мох или осока. Только не все растения похожи на осоку. Вот эти слишком мясистые, слишком бледные. И все словно растут из одного корня, большим пучком.

Из мясистых зарослей черной стрелкой вырывается мелкая рыбешка. Колебание стеблей меняется – с синуса на косинус, думает Джозеф, который порядком увлекается математикой, – как будто трава противится течению, хотя определенно не должна бы. А потом пучок травы делает мгновенный и по-змеиному беззвучный рывок, мелькают крошечные блестящие иголки зубов, и малька больше нет.

– Эт-то что? – заикается Джозеф. – Что там под водой?

– Вот поэтому никто не ходит к озеру, – объясняет Грэйси. – Но нам оно не помешает. Я о нем говорила с мисс Такер. – Грэйси склоняет голову. – Я слышала их разговор, мистера Мэйси с мистером Первым. Они говорили как старые друзья. Надо думать, так и есть. Только мистер Мэйси жутко перепуган, я такого никогда не видела.

– После смерти мистера Веринджера, похоже, все нервничают, – замечает Джозеф.

– То-то и странно. Никто об этом не говорит – конечно, никто вообще ни о чем не говорит, – но они же ведь не могут умирать? Это не... разрешается. Есть *правила*.

Джозеф кивает.

– Ты их боишься, да? – спрашивает Грэйси.

– А что, не надо?

– Может, немножко. Но они не плохие. Просто они потерялись. Но я так долго думала, что они вообще ничего не боятся. – Грэйси оглядывается на него. – Я ошибалась, Джозеф. Они кого-то боятся. И боятся не меньше, чем мы боимся их.

– Ты это о чем?

– Мистер Мэйси снова ходил к мистеру Первому, – говорит Грэйси. – Сказал, что узнал, кто убил Веринджерера. Или думает, что узнал. Он сказал одно слово – я не поняла, – и мистер Первый замер. А потом пришел в такое отчаяние, что едва говорил – что со мной, что с мистером Мэйси. Не знаю, о ком шла речь, но появился кто-то новый и... по-моему, те не подчиняются правилам. Им, кто бы они ни были, позволено причинять вред, убивать. Не знаю, почему такое началось только теперь, но они это делают. Они это сделали с мистером Веринджером.

Джозеф придвигается ближе к Грэйси. На уме у него не любовь: парень перепуган, он в ужасе от этой твари под водой, от нездешних лесных полян, а она толкует, что есть кто-то еще хуже, кто-то напугавший тех, кто, по мнению Джозефа, не знал страха. Но Грэйси спокойна и неподвижна, надежна, как утес в темном вихре гор, и Джозеф цепляется за нее.

– Ты зачем мне это рассказываешь? – спрашивает он.

– Затем, что не хочу видеть тебя в беде, – говорит она. – В Винке что-то меняется. В Винке никогда ничего не менялось, а сейчас меняется. Я хочу быть уверена, что ты в безопасности.

– Ты сбежишь со мной, Грэйси?

– Сбежать? – Она молчит. – Никогда об этом не думала. Не знаю... не знаю, смогу ли уйти.

– А я хочу, чтобы ты ушла со мной.

– Ох, бога ради, Джозеф, ты меня слушаешь? Это намного, намного важнее, чем ты или я. Джозеф задет и отстраняется от нее.

– Ты не понимаешь, как плохо дело, – продолжает Грэйси. – Я, может, одна представляю, что происходит, – спасибо мистеру Первому. Он дал мне некоторые... полномочия, хотя не уверена, нарочно ли.

Джозеф косится на нее краем глаза. Девушка неестественно безжизненным взглядом уставилась в озеро.

– Ты потому и изменилась так? – спрашивает он.

Она закрывает глаза.

– Ночью хуже. Днем я ничего, а ночью... по-другому. – Она глотает слюну. – То я здесь, а стоит отвлечься – и уже где-то совсем в другом месте. Там красные звезды и много гор...

По воде идет рябь, еще и еще. Джозеф сперва пугается, ищет глазами те мясистые щупальца, но скоро понимает, что Грэйси плачет и слезы падают в пруд. Страшновато смотреть, как она плачет, несколько не изменившись в лице: спокойные глаза широко открыты, а слезы просто заполняют их до краев и стекают на щеки.

Джозеф обнимает ее, прижимает к себе.

– Все хорошо, – утешает он.

– Ничего не хорошо, – отвечает она. – Не хорошо и не будет хорошо. Для меня наверняка.

– Мы все уладим.

– Как?

– Не знаю. Будем делать, что в наших силах, наверное. Большого никто не сможет. – Но Джозеф, успокаивая девушку, сам встревожен. Он и раньше обнимал ее, когда она плакала,

но такой она не бывала: плечи обмякли, глаза широко открыты, и говорит она ему в плечо ровным пустым голосом.

На том берегу озера слышится песенка. Мисс Такер приковывляла на мостки и стоит на них с фонарем, напевает, фальшивя. Посреди озера раздается всплеск, пена растревожена – то ли ветром, то ли еще чем, – а старуха нагибается, держит что-то над водой. Рыбу? Или кусок мяса? Джозефу не рассмотреть. Новый всплеск, стон где-то возле мостков, а она уже, выпрямившись, отирает руку о подол. В руке ничего нет, и мисс Такер улыбается, как дрессировщица, довольная послушанием питомца.

– Чего бы я не отдала, – говорит Грэйси, – за такой вот простой уговор.

Глава 13

Мона обнаруживает, что ее чердак забит коробками, и на следующий день берется их разбирать в надежде узнать что-то новое о матери. Многие, как видно, остались после семьи, жившей здесь раньше, но время от времени попадаются документы и вещи Лауры, и это заставляет Мону продолжать разборку. Работа и жизнь в городке помогают немного лучше понять Винк – во всяком случае, Моне так кажется.

Винк – солнечный город, но в нем не приходится долго искать гостеприимное крылечко, тенистую сосну или прохладный скальный уступ. Можно посидеть там, глядя, как полуденное солнце окрашивает все в цвет темного меда, слушая, как по улицам разносятся детские голоса и шуршат колеса велосипедов, а там и взрослые выбирают из домов, чтобы постучаться к соседям с графинчиками холодного чая, лимонада или мартини.

Похоже, ни одна машина в Винке не делает больше тридцати миль в час. Автомобили виляют по улицам и дорожкам с неторопливостью скатывающихся по стеклу дождевых капель. Здесь просто некуда спешить: все рядом, все успеется. А если и опоздаете, вас поймут.

И все машины в Винке – американские. Может, потому что для иностранных нет сервиса, но все равно горожане этим очень гордятся.

Все запросто ходят по чужим лужайкам, а кое-кто и перескакивает через изгороди; в Винке это понятное дело, ведь что мое, то твое, добрый человек, и может, я и сам не прочь, чтобы ты заглянул, как поживают мои розы, и выпил пивка, и перекинулся в картишки.

Вечера в Винке – это бейсбол, ослепительные закаты и веселая танцевальная музыка из динамиков припаркованных машин. Город полон веранд, раскладных кресел, и электрических вентиляторов, и хрустальной посуды, и графинчиков любовно приготовленной выпивки. Здесь растут помидоры и плющ, а розовые кусты склоняют ветки с тяжелыми цветами. В Винке переодеваются к обеду: на официальных приемах обмениваются новостями, на них ходят со вкусом провести время и приятно закусить.

Винк – тихое местечко, улыбчивое местечко, здесь можно где хочешь расстелить полотенце и лежать, глядя в синее небо, и никто глазом не моргнет, потому что в Винке всегда начало лета, а это время создано для удовольствий.

Каждая секунда в Винке длится вечно. Каждый день ожидает вечерней прохлады. И каждая жизнь проживается тихо, на залитой солнцем лужайке, где лежишь, задравши ноги, и смотришь, как мир радостно проплывает мимо.

Иной раз Моне кажется, что она вернулась домой – в дом, о существовании которого не подозревала. Она всякий раз ловит себя на этом чувстве, засматриваясь на детей.

Из всех приятных чудес Винка Моне интереснее всего матери с детьми. Она наблюдает, как они, взявшись за руки, прогуливаются по улицам: она наблюдает за детьми, играющими в парке, пока матери, валяясь на пледах, лишь изредка вмешиваются в размовку. Она наблюдает, как они сидят на крылечках и матери читают им вслух, пока не стемнеет и не настанет пора уходить в дом. Одно окошко наполняется золотистым светом, а когда закончен вечерний ритуал, тихо гаснет.

Спокойно.

Глядя на них, Мона ощущает давнюю боль в плечах и животе.

«А у нас с мамой так было? – вспоминает Мона. – Или нет? Могло ли и у меня так быть?»

Не думай. Гони эти мысли.

Ты пуста. Пуста».

Мона спрашивает, спрашивает, спрашивает. Ответов нет. Поначалу она подозревает, что весь город от нее что-то скрывает. Но понемногу начинает им верить: они в самом

деле не помнят ее матери. Может, мать жила здесь тайно? Или под другим именем? Это как-то связано с Кобурном? Никто не знает.

И все же первая неделя в Винке – самое приятное время, какое выпадало Моне в жизни. Вечера хороши до боли. Никогда ей так не хотелось сбросить старую жизнь и начать заново. Она даже подумывает плюнуть на поиски известий о матери. Но тут на чердаке обнаруживаются катушки пленок.

Это настоящий кинофильм, мотки призрачных янтарных кадров. Чтобы их просмотреть, приходится искать старый проектор, но в Винке, где магазины сохранили много старых вещей, найти его нетрудно. Чтобы разобраться, как заправить пленку в аппарат, приходится читать инструкцию (на удивление сложная операция), но, справившись, Мона возвращается домой, закрывает все шторы и двери, вставляет пленку и запускает проектор.

Аппарат жужжит, и на стене гостиной возникает пляшущее цветное пятно. Мона играет кнопками, добываясь резкости изображения, и скоро из цветного тумана проступают руки и лица.

Съемка идет в комнате. Собственно, в этой самой гостиной этого самого дома, только она не пуста, а полна народу. Какой-то праздник, летний праздник – может, Четвертое июля, судя по разукрашенному белым, красным и синим пирогу, – и все собравшиеся почти ровесники – лет тридцати на вид. Все мужчины в рубашках с открытым воротом, в голубых или коричневых спортивных куртках, а женщины в невероятно ярких платьях – ярких, как рождественские украшения. В воздухе висит густой дым, у всех в руках стаканы с пуншем, и все смеются, входят и выходят через балконную дверь на задний дворик. Кто-то машет в камеру, кто-то недовольно шурится от вспышек. Звуча нет, картинку сопровождает только щелкающее гудение аппарата.

Кто-то из мужчин зовет с заднего крыльца. Мона видит, как оборачивается и отвечает ему одна из женщин, но она далеко и не в фокусе. Мужчина (Мона сочла бы его профессиональным игроком в гольф) кричит ей громче, и женщина отвечает еще громче, чуть не складываясь пополам. Мона уверена, что у нее на глазах происходит неизбежная чуть ли не на каждой вечеринке переключка: «Что?... Что?» Гольфист, отчаявшись, машет женщине, и та подбегает, изящно семеня на высоких каблуках. Это мать Моны, Лаура Альварес, в потрясающем красном платье, и она, несомненно, душа компании. Когда она входит со двора в комнату, собравшиеся встречают ее приветственными кличами, и она смеется смущенно, но радостно и прижимает пальцы к груди, успокаивая бьющееся сердце. От ее смеха внутри у Моны что-то обрывается, и она плачет, глядя на улыбающийся ей со стены призрак матери.

Это просто нечестно. Это неправильно – нет, это дьявольски обидно! – видеть маму счастливой среди счастливых людей. Расплывчатая женщина, смеющаяся со стены, не подозревает, что впереди у нее годы безумия в темных комнатах, где маленькая девочка не понимает, почему чуть ли не от каждого ее взгляда мама плачет.

Мона вдруг проникается ненавистью ко всем этим людям. Она ненавидит своих приветливых соседей, ненавидит голоса детей, смеющихся и валяющих дурака на бейсбольной площадке, ненавидит каждую неоновую вывеску и приветливо машущих прохожих и ненавидит нарисованных людей на въезде в город, с надеждой смотрящих на башню на вершине горы. Она ненавидит их за счастье, которого ей не досталось, потому что они ведь не знают, да? Они не знают мира за пределами Винка. Люди на пленке не знают, что их мечта окончится ничем. Они не знают настоящей жизни, настоящего будущего.

А Мона знает. Слишком хорошо знает.

Мона не всегда носила фамилию Брайт. Когда-то, несколько лет назад – хотя сейчас кажется, прошла целая жизнь, – на четвертом году службы в хьюстонской полиции она познакомилась с патрульным по имени Дэйл Лоудон – не человек, а каменная стена, с большими грустными глазами и мягкой медлительной манерой говорить, очаровавшей очерствелое (так

она думала) сердце Моны. Дэйл любил старые фильмы, сам косил газон и делал мушек для блесен, хотя рыбак был никудышный. Добрый, внимательный, более или менее заботливый – словом, как раз тот, кого Моне до сих пор не хватало в жизни. И то, что член у него был с банан, не портило картину.

Они поженились, когда Моне исполнилось тридцать два, и как ни трудно ей было в это поверить, жили счастливо. Тихая домашняя жизнь, предложенная Дэйлом, ей нравилась, попадала в унисон. Мона и не знала, что можно так жить – так расслабленно, просто существовать. Было некое совершенство в возможности лениво проваляться в постели все воскресенье. Это действовало как чудесный невиданный наркотик – а как же иначе, ведь у Моны прежде не бывало такого дома. Настоящего дома.

Она забеременела на четвертый месяц брака. Ни он, ни она этого не планировали, но и случайностью ребенка назвать было нельзя. Потому что Мона, вопреки ожиданиям, пришла в восторг. Честно говоря, никто еще не слышал вопроса: «А не хотела бы ты приютить в своем теле целого человека, а после его болезненного извлечения не согласилась бы ты во сне и наяву, годами или десятилетиями покоряться капризам крошечной своевольной человеческой личинки, опустошающей твой кошелек и общественную жизнь?» – и не отвечал на него согласием. Тем более Мона Брайт, обладательница жестокого хука с правой, ледяной мины (перенятой у отца) и снайперской точности в стрельбе (она далеко обставила всех стрелков в своем выпуске – тоже отец научил).

И все-таки Мона согласилась. При виде маленького розового плюсика на белой полоске что-то в ней раскрылось, развернуло лепестки и потянулось к свету. Она не сумела бы этого выразить, но ей чудилось, будто ей выпал шанс все исправить, хотя она не понимала толком, что надо исправлять (тихий голосок в голове подсказывал – абсолютно все).

Она вскоре поймала себя на том, что скупает всякие глупости для детской: коврики, занавесочки, коляску, и одеяльца (согласно рекомендациям журналов для молодых мам, в которых она обнаружила вдруг кладези мудрости), и комбинезончики, и чепчики, которые и двух раз не наденешь, пока не станут малы. Почти все было нейтрального желтого цвета, поскольку Мона никогда не забивала себе голову фигней про голубое и розовое. Отказалась она и определять пол младенца, потому что так будет неинтересно, верно?

Дэйл покупал ей такие же смешные вещички для молодой мамы. Домашние тапочки. Подушки под спину. Массажер от отека лодыжек. И даже розовое платье для беременной. Розовое, потому что Дэйл, благослови его боже, не брал в голову ее проблем с голубым и розовым. И главное, Мона его надела. Хоть и походила в нем на сдувшийся воздушный шарик или пожеванный кусочек жевательной резинки, но носила. Плевать ей было. С тех пор как увидела на экране в гинекологии что-то похожее на мечущуюся креветку, ей стало не до глупостей.

Если что ее и волновало, так это семейная жизнь – а жизнь была. Ей все чаще вспоминалось выражение «завести семью» – оно звучало как «завести машину», намекая, что механизм собран заранее, и в него стоит только запрыгнуть, нажать кнопку – и поезжай себе. Или что можно обратиться в лавочку, где при виде кольца на пальце и банковской закладной тебя обеспечат подходящей семьей в полной сборке. У нее мурашки ползли по спине от чтения журналов, заявляющих: «Вот так рожают и растят детей», словно других вариантов не допускалось. Либо ты выглядишь как картинка из этого журнала, либо все делаешь неправильно.

А ей не нравились эти картинки. Ей не нужен был товар, предмет обстановки, вещь с рекламного объявления. У нее появился шанс дать кому-то любовь, которой не досталось ей самой, и Мона не желала превращать это в покупку, «оплачивать опыт материнства», как написал кто-то в Интернете.

Жизнь и ребенок – единственное, что по-настоящему принадлежало ей. И Мона дала себе слово никогда об этом не забывать.

Это случилось на восьмом месяце беременности. Восемь месяцев тошноты, отекавших рук и ног, носовых кровотечений и тумана перед глазами, вечной слабости; восемь месяцев шевелений и дрожи в животе, осторожных толчков маленьких ножек; восемь месяцев черно-белых снимков растущего в ней маленького сокровища; накопившиеся за восемь месяцев груды крошечных одежек. А потом, возвращаясь из бакалеи, она выехала на перекресток, где удачно горело два зеленых, и, уже выезжая, поймала на краю зрения что-то красное: крошечное пятнышко, мелькнувшее, как крылышки колибри.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.